

ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ

КОНЬ НА ОДИН ПЕРЕГОН

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Его должны были расстрелять на рассвете.

На рассвете — это крупное везение. Еще есть время.

Он лежал ничком в совершенной темноте. Вероятно, ногами к двери — швырнули.

Спина была изодрана в мясо и присыпана рыбацкой солью. Боль вывела его из забытья. Боль была союзником.

Связанные сзади руки немели.

Он перекатился на спину, и боль перерубила сознание. Он смолчал и пришел в себя. Он просто забыл: нога. Левая нога попала под коня. Под ним убило коня.

Он уперся правой пяткой в земляной пол и проелозил плечами... Оттолкнулся еще раз и совладел с дыханием. Подтянул ногу, закинул голову, опершись макушкой приподнял плечи и передвинул себя.

После десятого раза он стал переворачиваться на живот. Сердце грохало в глотке.

Извивался, царапая коленом, правой стороной груди, головой — полз.

Часовой — вздохнул, выматерился, зачиркал металлом по кремашку, добывая прикурить, близко, но снаружи, где дверь, в стороне ног.

Он определил стену сарая. Переместил себя вдоль нее. На правом боку, прижимаясь, продвигался. Острые гвоздя корябнуло лоб.

Нашел.

Гвоздь торчал на полвершка. Он долго пристраивался к нему стянутыми запястьями. При всяком движении черная трещина в сознании расширялась, и боль увлекала туда.

Не чувствуя руками, на звук, он дергал веревкой о кончик гвоздя. Приноровясь, пытался расщипывать волокна в одном месте.

Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; очень большая удача.

Пряди поддевались чаще толстые. Он отпускал напрягшиеся нити, стараясь определить одну, и рвал ее...

...Очнувшись, он продолжал. И последняя прядка лопнула, но это был лишь один виток, и веревка не ослабла.

Теперь он приспособился, пошло быстрее... Ему удавалось расковырять, разлохматить веревку о гвоздь, и она поддавалась легче.

...Он не мог сказать прошедшего времени, когда освободил руки. Он кусал взбухшие кисти, слизывая кровь с зубов, и руки ожили.

Под стену натекала вода. Он напился из лужицы. Часть воды оставил, повертев пальцем в дне лужи несколько ямок поближе к стене.

На четвереньках, подтягивая ногу, он обшарил сарай. Ни железки, ни щепки... Пригнанные доски прочны.

Железный костыль сидел в столбе мертво. Сжав челюсти, он раскачивал его, выкрашивая зубы.

Костылем он стал рыхлить землю с той стороны, под стеной, где натекала вода. Он рыхлил увлажняющуюся землю костылем и выгребал руками. Руку уже можно было высунуть по плечо, когда в деревне закричали петухи. Ему оставался час до рассвета. С дождем — полтора часа.

Часовой — не шагал под дождь, но без сна, дымок махорки чулся.

В темноте, сдирая запекшиеся струпья со спины, он вылез в мокрый бурьян. Умеряя движения, каждую травинку перед собой проверяя беззвучно, пополз направо к реке.

С глинистой кручи головой вперед, тормозя скольжение вытянутыми руками, пальцами правой ноги и подбородком, он достиг берега.

Лодок не было.

Ни одной.

Он двигался на четвереньках вдоль воды. Дождь перестал, и линия обрыва выступила различимо.

Обломок бревна он заметил сажени за три. Подкатил его, спустился без всплеска в сентябрьскую воду.

Лежа на калабахе грудью, обхватив ее левой рукой, оттолкнулся от дна, тихо-тихо загребая правой к середине.

Ниже по течению верстах в полутора на том берегу был лес.

И поэтому так называемые трудности мне непонятны.

И знакомые называют меня идеалистом, наивным оптимистом и юнцом, не знающим жизни.

Человек этот, боец 6-го эскадрона 72-го красного кавполка, был мой прадед.

Фотографию его, дореволюционную овальную сепию, я спер из теткинго альбома и держу у себя на столе. Те, кто видят ее впервые, не удерживаются, чтобы не отметить сходство и поинтересоваться, кем этот человек мне приходится. Что составляет тайный (и не совсем тайный, если откровенно) предмет некоторой моей гордости. На фотографии ему двадцать один — на три больше, чем мне сейчас. Намного старше он не стал — погиб в двадцатом.

КОНЬ НА ОДИН ПЕРЕГОН

Всех документов у него было справка об освобождении.

— Карточная игра, парень, — предупредили, куря на короточках у крыльца.

Сиверин не отозвался. «Передерну».

«Скотоимпорт» непридирчив. Неделю в общежитии тянули пустоту: карты и домино. Жарким утром, успев принять с пятерки аванса, небритые и повеселевшие от вина и конца ожидания, устраивались в кузове с полученными сапогами и телогрейками.

— Чтоб все вернулись, мальчики!..

Через два дня, отбив зады, свернули у погранпункта с Чуйского тракта и прикатили в Юстыд.

Житье в Юстыде — скучное житье. Стругают ножны для ножей, плетут бичи кто разжился сыромятиной. Карты — на сигареты и сгущенку. Солнце — жара, тучи — холод: горы, обступили белками.

Ждали скот; подбирались в бригады. Сиверина чуждались (угрюм, на руку скор).

После завтрака, вытащив из палатки кочму, он дремал на припеке. Подсел Иван Третьяк, гуртоправ:

— Отдыхай. Отдыхай. Ты вот чо: в обед монголы коней пригонят. А нам послезавтра скот получать. Мысль понял?

Сиверин глаз не открыл. Иван сморщился, лысину потер: «Не брать тебя, дьявола... Да людей нет».

— В табуне все ничо кони давно взяты, — затолковал. — На первом пункте менять придется. А на чо? — там еще хужей оставле-

ны, все первые связки забрали. Так что будем брать сегодня прямо с хошана. Они, конечно, за зиму от седла отвыкли; ничо... Зато выберем путевых коников. А коники нам по Уймону ой как понадобятся! Так что готовься... Присмотри себе. Злых не бойсь — обвыкнут...

На складе долго перекидывали седла. Пробовали уздечки. Завпунктом разводил руками.

Свалили в кучу у палаток.

— Чо, коней сегодня берете?..

— Третьяк у монголов брать будет. Хитрый... Лучших отберет.

Пригнали за полдень. Кони разнорослые, разномастные. Двое монголов с костистыми барабанного дубления лицами, кратко выкрикивая, заправили в хошан. Сделали счетку. Они расписались в фактурах. Поев на кухне и угостившись сигаретами, расправили по седлам затертые вельветовые халаты и неспешной рысью поскакали обратно.

Мужики, покуривая, расселись по изгороди. Третьяк с Колькой Милосердовым полезли в хошан. Пытались веревкой, держа за концы, отжать какого к краю. Кони беспокоились, не подпускали.

— В рукав давай! — велел Третьяк.

От узкого прохода кони шарахались. Третьяк и Милосердов сторонились опасно. С изгороди советовали. Не выдержав, несколько прыгнули помогать. Вывязывая сапоги, маша с гиком и высвистом, загнали в рукав. Зажатые меж жердей, кони бились, сиюсь повернуться. Всунули поперечины, перекрыв:

— Уф!.. Так...

Притянув веревками шеи, взнуздали, поостерегаясь. Наложили седла; застегнули подпруги.

— Выводи...

Первый, крутобокий пеган, пошел послушно у Кольки Милосердова. Дался погладить, схрупал сухарь. Колька, ухарски шурясь, чинарь в зубах, вдел стремя — пеган прынул — уже в седле Колька натянул повод, конь метнулся было и встал, раз-другой передернув кожей.

Пустил шагом. Дал рысь.

— Нормальная рысь, — решили сообща.

Галоп. Покрутил на месте.

— Есть один!..

Второй, коренастый гнедок, Кольку сбросил раз, — и сам ждал поодаль.

— Жизнь-то страховал хоть, Колька?

— Шустрый, язви его!..

Поймали быстро. Камчой вытянули — понимает за что.

— Порядок. Это он так... сам с испугу, отвык.

Со скотоимпортским табуном подоспел Юрка-конюх.

— К этим давай. Легче брать будет.

Яшка, высокий вороной жеребец, в жжении ярой крови ходил боком, отгораживая своих.

— Знакомятся!..

Рыжий сухой монгол доставал кобылиц, кружась обнюхивая и фыркая. Яшка прижал уши и двинулся грудью. Рыжий увернул — Яшка заступил путь.

— Делай, Яшка!

— Счас vlo-омит!..

— Так чужого, не подпускай!..

Надвинулись, тесня. Рыжий жал. Яшка взбил копытами, сверкая оскалом. Рыжий с маху клацнул зубами по морде. Взыбились, сцепляясь и ударяя ногами. Копыта сталкивались деревянным стуком.

Яшка, моложе и злее, набрасывался. Слитные формы вели черным блеском. Монгол, сух и костист, некованный, скупно уклонялся. Грызлись, забрасываясь и сипя. С завороченных губ пена принималась алым.

Яшка вприкус затер гриву у холки. Рыжий вывернулся и лягнул сбоку, впечатал в брюхо. Яшка сбился, лоя упор. Рыжий скользнул вдоль, закусил репицу у корня.

Юрка-конюх бичом шелкнул, достал... Без толку:

— Изуродует Яшку, сука!.. — заматерился Юрка.

Визжа от боли резко, Яшка вздернулся и тупнул передними в крестец. Рыжий ломко осел, прынул. Закрутились, вскидываясь и припадая передом, придыхая. Мотая и сталкиваясь мордами, зачесывали резцами.

На изгороди, заслоняясь от солнца, ссыпаясь в их приближении, захваченно толкались и указывали.

Кровеняя отверзнutoй каймой глаз, сходились вдЫбки, дробили и секли копытами. Уши Яшки мокли, изменены. В напряжении он стал уставать. С затяжкой шарахаясь из вязкой грязи, приседая на вздрагивающих ногах, хрипел с захлебom. Воротясь, кидал задом. Рыжий, шерясь злобно, хватал с боков.

— Эге, робя! да он же холощенный! — заметил кто-то.

— По памяти!.. — поржали. — И бёз толку — упорный, а!..

— Нахрен он мне в табун, — не захотел Юрка. — Третьяк, бери?

С изгороди усомнились:

— На таком спину сломать — как два пальца.

Колька Милосердов мигнул Ивану. Иван сморщился и потер лысину.

— А вот Сиверин возьмет, — объявил Колька.

Все обратились на Сиверина.

— Или боязно? Тогда я возьму. Тебе кобыленку посмирнее подберем. Чтоб шагом шла и падать невысоко.

Смешок готовный пропустили.

«Ты поймай... я сяду».

Отжать веревкой конь не давался. В рукав не шел. Пытались набрасывать петлю... Перекурив, послали за кем из стригалей-алтайцев.

Пришел невысокий парнишка в капроновой шляпе с загнутыми полями. Перевязал петлю по-своему. Собрав веревку в кольца, нешироко взмахнул петлей вокруг головы и пустил: она упала рыжему на морду, сползая («не набросил», — произнес кто-то), нижний край свис, алтаец поддернул — петля затянулась на шее.

— Дает пацан... — оценили.

— Так се конек, — сказал алтаец, закурил и ушел.

Конь рвался. Суетясь и сопя, ругаясь, впятером затянули в рукав. Бились: не брал удила, всхрапывая скалил сжатые зубы. Придерживая через жерди седло, проволокой достали под брюхом болтающиеся подпруги.

— Вяжи чумбур, — Третьяк утер пот... — Вяжи два чумбура.

Коротко перехватил повод:

— Страхуй.

Вывели вдвоем. Конь ударил задом и задергал. Иван повис на уздах. Юрка и Колька со сторон тянули чумбуры.

— Ждешь, Сиверин? — озлел Третьяк. — Берешь — бери! Не убьет...

При коновязи конь стих. Сиверин курил рядом. Кругом предвкушали.

— Ехай, Сиверин, ехай, — поощрил Третьяк.

Навстречу руке конь оскалился. Привязанный, стерпел: Сиверин почесал, поскреб плечо сильно. Взялся за луку седла — конь прянул, Сиверин отскочил.

Захлестнул за коновязь чумбур и, заведя кругом, прижал коня к бревну боком: «Держи», — сунул конец Юрке.

Отвязав повод, влез на коновязь и с нее быстро сел, взявши правой заднюю луку. Конь забился, ударил дважды о коновязь — Сиверин поджал ноги, удержался.

Вывели на чумбурах. Конь, шарахаясь и заступая задом, рванул, они побежали, удерживая концы. Сиверин перепилил поводом, на-

тянул обеими руками вверх, щема коню губу, он дал свечу, тряхнул спиной вбок, стал заваливаться, Сиверин бросил стремяна и толкнувшись коленями отлетел вбок, перекатываясь подальше; конь извернулся кошачьи, спружина взял в бег, но Третьяк захлестнул уже чумбур за столб изгороди, и он смаху был развернут натянувшейся петлей, припадая на сторону и хрипя.

— Ничо... Пусть успокоится...

Сиверин сел снова. Юрка с Колькой захватили чумбуры в метре от шеи. Упирались, не давая подняться на дыбы, Сиверин всей тяжестью налег вперед — и конь подсев и резко бросив задом отправил его через голову.

— Показывай класс... наездник, — прогудел Чударев, начальник связки, грузный сильный старик, супясь с улыбкой. Скотогоны загрохотали.

Сиверин отряхнулся, прихрамывая. Поводил под уздцы.

Успокоил ведь, вроде. Сухарь конь взял, схрупал. Допустил в седло. Прошел шагом.

— Вот и в норме, — сказал Третьяк.

Не чувствовал Сиверин, что в норме.

Рысью... Поддал пятками в галоп — конь уши прижал, попятился. Пошел шагом. Сиверин натянул повод, и конь встал.

Третьяк смотал и приторочил чумбур, второй Колька отвязал.

— Пусть-ка еще проедет, — сказал он и шлепнул веревкой по крупу.

Конь с места понес. Они вылетели в ворота. Сиверин вцепился в повод и луку. Заклешился коленями и шенкелями, теряя стремяна.

Пот мешал глазам. Не мог отвлечься, чтоб слизнуть с губ. Тянул повод затекшей рукой. Храпя и екая, со свернутой мордой, конь не урежал мах. Юстыд скрылся.

Сводило ноги. Седло сбивалось к холке. Сиверин надеялся, что не ослабнет подпруга.

Конь тряс жестко. Он осадил разом, и Сиверина швырнуло через голову, но первым, что он сообразил, был мертво зажатый в руке повод; этот повод, вывертывая руку из сустава, волок его стремительно по траве и камням. Копыта вбивались вплотную; бок вспыхивал до отказа сознания; но это значило, что повод не оборвался, он и правой схватился, подтягиваясь, пытался подобрать ноги и встать, но конь тащил слишком быстро, завертелся, лягая, и в заминке хода Сиверин успел вскочить и повис на поводке, топыря ноги по уходящей земле и клекоча. Он налегал книзу, сдерживая; он сумел высвободить правую руку и дотянулся до передней луки, сбоку подпрыгнув закинул правую ногу. Конь дернул, нога

соскочила, но рукой удержался, снова закинул и втянул, дрожа судорогой втянул себя в седло.

Взбросив подряд, конь встал на месте. Он дышал со свистом. Он отдыхал.

Сиверин сидел. Отпускало сдавленное горло. Сведенные мышцы вздрагивали. Воздух был желт: тошнило. Тыча рукой в багровых рубцах от повода, нашел курить. С трудом чиркал вываливающиеся спички. Край сигареты окрасился. Сплевывал.

Прохватил ветер. Горячий в поту, он остыл; полегчало. Дождь полетел полого. Конь переступил, отворачиваясь задом. Сиверину тоже так было лучше.

Припустило сильно. Видимость сделалась мала за серой водой. Сиверин тихо толкнул в шаг — конь двинулся, послушал. Но повернуть не подчинялся. Сиверин не настаивал: какой конь любит дождь в морду.

Не просвечивало, и определить время было трудно. Сиверин замерз. Он жалел, что без телогрейки и шапки. Сигареты в кармане размокли, и он выкинул их.

Они ехали и останавливались под дождем. Сиверин пружинил на стременах — грелся.

Низкое солнце вышло быстро. Вечерняя прозрачность напиталась духом чебреца и горной медуницы. Емуранки засвистели. Конь попал ногой в норку и споткнулся. Сиверин поддернул повод, — он захрапел и понес.

Успокоившийся было Сиверин озверел в отчаяньи. Сил могло не хватить. Он повернее уперся в стременах и откинулся, вжимая повод. Гора была впереди, и он не давал коню свернуть.

Мотая закинутой головой, выбрасывая разом в толчках передние ноги, конь стлался в гору. Он опасно оскользался на мокрой траве склона, но Сиверин не кинул стремяна, даже когда затрещали по каменистой осыпи вокруг отвесной вершины. «Сдохну! — вместе! — по-моему будет!» — ослепляло в высверках, на косою крутизне упор утек, сдирая правый бок о щебенку они съехали вниз метров двадцать до низа осыпи...

— Вставай, сука!.. — сказал коню Сиверин, перенося тяжесть влево, не вытаскивая ногу.

Конь поднялся. Правое колено выше сапога, бедро и локоть у Сиверина были ссажены под лохмотья, но крови не было.

— Тоже, самоубийца, — сказал коню Сиверин, вдруг неожиданно повеселев. — Не круче моего... Обломаю! — задохнулся он и пустил вниз, врезав каблуками, но стараясь, однако, не попасть ему по свежей царапине.

Конь принял вмах, не умеряя, как жмутся кони на спуске, и Сиверин не отпускал стремяна и не страховался за заднюю луку — ему было плевать; и была уверенность.

И не заметил, как развязались тороки, и чумбур упал и потащился. На ровном конь надал, попал задним левым копытом на веревку, передней левой бабкой зацепил и грохнулся оземь вперед — влево перекатываясь через голову и левое плечо. Тяжесть ударила в треске ребер перенеслась, ноги выламывались, копыта били задевая воздухом, он выпутывался из стремян, копыто стукнуло по запястью и левой кисти не стало, в живот или голову — убьет, вырвал правую, оставив в стремени сапог, конь вскочил, лежа на спине он сдернул стремя с левой, небо сверху, конь исчез, ожгло вниз спину, закинул правую руку и успел уклешнить мокрую скользкую веревку, деревяnea в усиллии, стряхнув с места понесло, летящая земля жгла и шаркивала шкуру, вывертывая позвонки перевернулся на живот, конец веревки позади правой руки намотал дважды левой, она работала, стругая носом зажал веревку в зубы...

Конь держал вскачь. Сиверин несся на привязи. Трава и песок сливались в струны. Камни выстреливали, кроя тело. «По кочкам разнесет...» Он понял звук — отрывками изнутри звериное подвывание.

Он стал подтягиваться по чумбуру. Чужие мышцы отказывали. Власть над телом иссякла. Сознание отметило, что мотков на левой руке больше. Происходящее как бы... отходило...

Разом — задохся в спазме. Это конь пересек ручей. Вода накрыла. Руки разжалась. Но веревка была намотана на левую, и натяжение прекратилось, потому что конь оступился на гальке откоса, и Сиверин, имея в сознании лишь одно, схватил правой и дернул за пределом сил, конь снова оступился, ослабив чумбур, Сиверин уже сел, крутанув в воде легкое тело, упершись ногами выжег в рывке всю жизнь ног, корпуса, рук — и попал коню как раз не под шаг, тот снова упустил мокрые камни из-под некованных копыт и неловко и тяжело упал боком в воду — сшибая не успевшие взлететь брызги Сиверин метнул себя ему на голову сумасшедше лапая левый в ноздри и правой повод.

Конь забился, вставая. Сиверин большим и указательным пальцем левой руки, всунув, сжимал ему ноздри; правой притягивал намотанный повод. Держа крепко, поднялся враскорячку с колен.

Не двигались. Сиверин пытался сосредоточиться, чтобы понять, где верх и где низ. Постоял, отдавая отчет в ощущениях и упорядочивая их.

Бокон, сохраняя хватку, повел коня на ровное место у берега. Переставлять ноги требовало рассудочного напряжения.

Там отдохнул немного. Повернулся, не отпуская рук, так, что морда коня легла сзади на правое плечо, и медленно пошел, ища глазами.

Остановился у глубоко вбитого старого кола. Опустился на колени. Не отпуская левой, правой плотно обвязал осклизлый узкий ремешок повода и тщательно затянул калмыцкий узел. Дотянулся до чумбура и тоже очень тщательно привязал.

Потом оперся на четвереньки и его вырвало. Он сотрясался, прогибаясь толчками, со скрежущим звуком, желудок был пуст, и его рвало желчью.

Он высморкался и встал, дрожа, ясный и пустой.

Конь смотрел, спокойный.

Вперившись в его глаза и колко холодея, Сиверин потащил ремень. Гортань взбухла и душила. Оранжевые нимбы разорвались перед ним.

— У-ург-ки-и-и-и! — визг вырезался вверх, вес исчез из тела, он рубил и сек, морду, глаза, ноздри, губы, уши, топал, дергался, приседал, слепо истребляя из себя непреодолимую жажду уничтожения — в невесомую руку, в ремень, в месиво, в кровь, в убийство.

— Гад! — всхлип выдыхивал. — Гад! Гад! Гад! Гад! Га-ад!..

Рука сделалась отдельной и не поднималась больше.

Он не мог стоять. Он захлебывался.

Конь плакал.

Живая вода, заладившие слезы, текли с чернолитых глаз, остановленных зрачков, тихо скатывались, оставляя мокрый след в шерстинках, и капали.

Сиверин сел и заревел по-детски.

...Успокоившись, утер слезы и сопли, приблизился к коню и ткнул лбом в теплую шею.

— Раскисли мы, брат, а... — сказал он. Снял куртку, выжал, и стал приводить своего коня в порядок.

Солнце уже опустилось за гору. Потянул ветерок. Сиверин в мокром начал зябнуть. Он отжал одежду и слил воду из сапога. Второго не было. Очень захотелось закурить.

Сзади подъехал Колька Милосердов.

— Ни хре-на ты его, — сказал он.

Сиверин смотал чумбур и приторочил, и Милосердов увидел его лицо.

— Ни хре-на он тебя, — сказал он.

— Езжай. Я скоро, — Сиверин отвязал повод. — Закурить дай. Милосердов стянул телогрейку.

— В кармане. Надень. — Помедлил. — Сапог потерял? — спросил, отъезжая.

— Рядом. Подберу.

Сиверин надел нагретую телогрейку на голое тело и застегнул до горла. Покурил, вдыхая одну затяжку на другую; потеплело; прежедал головокружение.

— Поехали, что ли, ирод хренов, — сказал он коню. Мокрые куртку и рубашку приторочил сзади, подсунув между седлом и потником (сейчас, когда сам был в теплой сухой телогрейке, нехорошо показалось вроде как-то класть мокрое и холодное коню на спину).

Ехали шагом. Сапог нашелся недалеко. Смеркалось быстро. Огоньки Юстыда показались из-за горы.

— Послезавтра скот получим, — сказал Сиверин. — Потом спокойно попасем его здесь дней несколько, пока стрижка очередь подойдет. Потом стрижка дня два. Отдыхать будешь, — он нагнулся, выпуская дым коню в гриву. — А там и тронемся. До Кош-Агача по ровну пойдем, спокойно. А там горы, там уж крутиться придется. Но ничо... Дойдем до Сок-Ярыка, там Колокольный Бом, Барбыш, — и легче будет, ровней, и пониже, теплей будет. Деревни уже пойдут. И притопаем с тобой помаленьку в Бийск, на остров придем. А там уж тебе — в табун, до самого будущего лета. Пасись, отдыхай, кобыл делай, — он вспомнил, гмыкнул, вздохнул. — Мда... Кобылы-то тебе, брат, уже без надобности. Что же... Гадство, в общем. Ничо... Жизнь все же, отдых... Можно жить-то... А я, — новую закурил, — сдадим скот на мясокомбинат, расчет получим, рублей тысяча или больше даже, если хорошо дойдем, без потерь. Не потеряем... Пасти хорошо будем — гор много, трава есть, только по уму и не лениться. Привес дадим, премия. Расчет получу, книжку трудовую выпишут. Документы выпишут в милиции, все путем будет. Документы, деньги, трудовая... поеду, наверно, в Иваново, к Сашке Крепковскому, он звал, примет. На работу постоянную устроюсь. И нормальная у нас, брат, жизнь с тобой пойдет, понял?.. А что отволохал тебя — не сердчай. И ты меня сделал в порядке. Можно сказать, квиты. Что ж — работать ведь надо. Ведь сам понял. Дурить не надо. Что дурить... Понимать надо. Я-т тоже всяко повидал...

Под навесом в слабом свете ламп стригали работали на столах, стрекотали машинки, овцы толкались массой. Привязанные кони паслись внизу у ручья. В волейбол, полуразличная мяч, с площадки стучали.

За воротами попался парнишка в шляпе, бросавший давеча аркан.
— Эка он тебя... Объездил?
— Есть. — Сиверин слез.
— Дай-ка, — алтаец наглогато-хозяйски завладел конем. Умело пустил рысью, тут же вздыбил, развернул, толкнул в галоп, покрутил.

— Не, барахло конь, — пренебрежительно передал. — Рыси нет. Трясет сильно. Шаг короткий, — скалился улыбочиво — а не шутил.

— Дойду на нем, — отрезал Сиверин.

— Конечно, не думай, — смягчился алтаец. — Свежий так-то конь. Тебе быстро не надо. Гнать надо, пасти, чо...

От коновязи Сиверин понес седло на плече, бренча стремянами и пряжками подпруг, к палатке.

— Жив? — спросил Третьяк. — Ухайдокал он тебя. Но сделал, молодец.

Сиверин заострил полено под кол и с топором пошел обратно.

— На тушенку его, точно, — засмеялись из темноты.

— Са-ам до мясокомбината дойдет, — сказал второй голос.

У ручья конь заторопился и стал пить, звучно екая, отфыркивая и переводя дух. Сиверин опустился на колени рядом, со стороны течения, и тоже долго пил. От студеной воды глотка немела и выступило на глазах.

Прикинув место получше, он вбил топором кол, привязал чумбур и снял с коня уздечку. Конь отошел на шаг и жадно захрумкал траву.

Постояв, куря и глядя, Сиверин помочился, и конь тоже пустил струю.

— Мы с тобой договоримся, паря... — улыбнулся невольно.

Заставил себя сдвинуться, в ручье осторожно обмыл мылом незнакомое на ощупь лицо. Левое запястье сильно распухло и болело.

Конь пасся, и Сиверин отправился на кухню.

Повар Володя с Толиком-Ковбоем и веттехником шлепали в карты. Они оборотились и зацокали, качая головами.

— Кушать хочешь?

— Жидкого бы. — Не хотелось есть.

Выхлебал миску теплого супа. Володя отрезал хлеба — из своих, видать, запасов, так-то сухари давали.

— Ты хоть страховался? — спросил веттехник.

— Э... Никто не боится, — сказал Толик-Ковбой.

У палатки Третьяк и Колька Милосердов на костерке из щепок и кизяков варили чифир в кружке, прикрутив проволочную ручку. Когда вода вскипела, Колька высыпал сверху пачку чаю, помешал

щепочкой, чтоб напиталось и осело, и, держа брезентовой рабочей рукавицей, пристроил над огнем. Гуща поднялась, выгибаясь, пузырящаяся пена полезла из разломов; Колька снял с огня и накрыл другой кружкой, чтоб запарился.

— На-ка, хватани, — протянул Третьяк.

Сиверин закурил, подув отхлебнул и передал Кольке.

Стригали уже кончили работу, там было темно. Еще несколько костерков горели среди палаток.

— По всему Уймону сейчас костерки наши... — пустился в задумчивость Третьяк. — Тыща километров, почитай, по горам; кто эти километры мерил... Где несколько километров ходу, где боле тридцати. Чик-Атаман в снегу уж, поди, под ним в снегу стоят. Дежурят у костерков. Чай варят, скот смотрят. Утром — ломать лагерь, седлаться — погнали. Как-то дойдем?..

— А сверху б глянуть, — запреставлял Милосердов. — Вот спутник от нас видно, когда запускают, с него видать можно, конечно. Ночь, понял, темно — и только костры наши цепочкой до Бийска, — он головой даже закрутил от впечатления. — Это сколько же... — стал считать: — восемь связок ушло, по три гурта, первые три — по четыре пошли, это... двадцать семь костров.

— Да косари от Тюнгуга и дальше, — прибавил Третьяк. — Да колхозный, цыгане пасут...

Чифир уменьшил притупленность чувств. Следы дня давали знать себя все сильнее; Сиверин старался не шевелиться. Колька заварил вторяк. Он без надобности поправил на шее монету в пять монго, где всадник с арканом скакал за солнцем.

— Коня ничо ты сделал, — подпустил он сдержанное мужски-лестное уважение.

— Эх, мучений-то сколько. — сказал Третьяк. — Ну, теперь он тебя признал.

— Монгол, — рассудил Милосердов. — Ты его по Уймону не жалеи. Нам — дойти только. А там все одно — на мясокомбинат.

— Что — на мясокомбинат? — не понял Сиверин.

— На тушенку, — с каким-то весельем предвкусил Третьяк.

— Чего это?

— Так монгол же, — объяснил Милосердов. — Они нам что поставляют — это мы по фактурам на комбинат сдаем. На тушенку пойдет.

— Своим ходом, — добавил Третьяк.

— Так что отыграется ему твоя шкура, — посмеялись.

— Так он чо, не в табун пойдет? — все пытался уразуметь Сиверин.

— Нет конечно. В табуне скотоимпортские. А это — монгол, по фактуре принят. Да чо те, — все равно только дойти. На-ка, хватани!..

Сиверин ощутил, как он устал. «Раскатись оно все...»

— Устал ты сегодня, — ласково сказал Третьяк. — Пошли отдыхать, ребятаки.

Лежа рядом на кочме под одеялом, закурили перед сном. В затычках выделялись красновато лица и низкий тент.

— А-ахх... — поворочался Третьяк. — Ты не жалеи...

— Да я такого зверя в рот и уши, — сказал Милосердов. — Может, Юрка-конюх заместо него другого сдаст, похуже, — предположил, помолчав.

— Может, — согласился Третьяк. — Клеймо только...

— Кто смотрит? Переклеят... Да он с Яшкой грызться будет, — не станет.

— Это точно... Яшка у него табун держит.

Все отходило, тасовалось... «сам убью...» — поплыло неотчетливо... Сиверин понял, что засыпает, загасил окурок сбоку кочмы о землю и натянул одеяло на голову.

ЧУЖИЕ БЕДЫ

Близился полдень, и редкие прохожие спасались в тени. Море блестело за крышами дальних домов, а здесь, в городе, набирали жар белые камни улиц.

Базарное утро кончалось. Оглушенные курортницы слонялись в чаду шашлыков среди яблок и рыбы.

Резал баян.

Безногий баянист в тельнике набирал неловкую дань у ворот.

Один оглядел калеку, пожал плечами. Выходя с горстью тыквенных семечек, сплевывая в пыль их бледные облатки, опустил в черную кепку червонец.

— Вот... — растрогался баянист. — Спасибо, браток!..

Человек стоял, чуждый жару, сухощавый, в светлом с иголки костюме и ярком галстуке.

— Из моряков сам?

— Нет. Сделай «Ванинский порт».

...Он вернулся с коньяком. Подстелив газетку, сел рядом. Инвалид достал из кошелки стакан и четыре абрикоса.

— Прими-ка.

Выпил с чувством, глаза прикрыв: «Эх, дороги!..» — рванул. Человек слушал: «Амурские волны», «В лесу прифронтовом».

— Сделай еще что-нибудь. «Таганку» можешь?

Отмерили еще.

Рукопожатие заклешили:

— Виктор.

— Гена. «Виктор»... победитель, значит... — пояснил. — Топчи землю крепче, победитель! — принял.

— В точку, — налил себе ровно:

— Чтоб руки не подвели, верно?

— Руки-то служат покуда, — баянист сплюнул, закурил. — Ты сам-то командировочный, или отдыхаешь здесь?

— Командировочный.

— А специальность какая?

— Специальность? Научный сотрудник. Биолог.

— Из Москвы?

— Из Харькова, — улыбнулся легко.

Звякнул в кепку гривенник.

— А вот скажи мне, Виктор, такую вещь: ты с большим образованием человек, ученый, а вот пьешь со мной, сел рядом?

— Да захотелось.

Гена пересыпал мелочь в мешочек, оставив в кепке несколько монет.

— И много выходит?

— До червонца и больше.

— Куда тебе — пьешь?

— Мне для дела... — наставительно.

— Какого дела?... — плеснул остаток.

Коньяк был крепок, да крепко жгло солнце, человек молчалив без жалости, и Гена скоро поведал свою историю, где была деревня на севере, красавица жена, новороссийский десант и много тяжких раздумий.

Человек посоображал.

— Бабе, значит, отсылаешь?

— Жене, Витек, жене.

Витек посвистал.

— Хочешь слово? — дуй к ней.

— Неправильно. Обрубок... Я ж, Витек, первый парень был: работник, гармонист, чуб в золоте... Анька из всех самая. Поначалу-то... Позору — девки завидовали...

— Ну так!..

— Со стороны... а в доме калека — обуза скорая. Ждать-то — иначе в представлении. Да более двадцати прошло — что ждать...

Он установил баян: «Эх, дороги...»

— А может, думает, сошелся я с кем. Так тогда не посылай бы... Хоть и из разных городов с людьми — чует поди... А что я могу...

Человек следил движение чаек над бухтой.

— Покой души за деньги имеешь?.. — спросил он.

— Не имею, — сказал безногий. — И обиды моей тебе не достичь, хоть поил ты меня. — И вынув из кошелки заткнутую бутылку, налил молодого вина.

— Обида... — Человек пожал плечами, выпив. — Не люблю просто, когда бздят.

— Бздят, — прошептал безногий...

В молчании и зное, в охмелении, глаза его навелись в свою даль.

— Вот ты скажи, Витек, ты ж образованный, — заговорил себе тихо и быстро, — отчего ж запутанно все так... Ах, браток, как запутанно-то оно все! Получается вот: верность там, любовь, навязываться не желает — благородно выходит... по совести же вроде... И так оно! — да только это разве... Если б я, конечно, к ней сразу поехал. Так ведь думал же все, как тут не думать... дни и ночи все думал. Извелся; решусь, думаю, успокоюсь, — напишу тогда все, да и двину. А пока-то ничего не писал. Играть вот как-то пока сам стал. Деньги стали, значит — я ей-то деньги и послал пока; себя ни фамилии, ничего не указал. Молчал столько — так теперь подкоплю, сообщу все сразу, и поеду. Сам колеблюсь, конечно, иногда сомневаюсь... но все же думаю: поеду; успокаиваюсь в решении этом, привычная мысль становится, что все же поеду. Деньги пока еще послал. И вместе с мыслью этой привычной — время-то идет! — и жизнь моя мне привычная становится! Время-то идет! а я все откладываю — и привыкаю! Привыкаю!.. Да ехать же надо, подумаю! уж какой есть, нешто не примет? еще слезами умоется в счастье, что живой, да вернулся. Руки у меня хваткие, соображение тоже имеется, — прокормимся. А то — как представлю жизнь эту жалостливую, — да хрен ли мне в этом, думаю... А сам это время все больше привыкаю!.. Деньги есть легкие, в обед выпил, утром похмелился, — душа наша матросская, когда мы сдавались! Так что я?.. работать уж и забыл, выпить есть с кем... подумаешь когда: а нравится ведь жизнь-то такая... вот страшно что — нравится! Щемит только: она-то ждет там, мучится... а самому-то и приятно в то же время, что вот ждет она и мучится... и жутко даже от того, что приятно это... Хоть бы, думаю когда, разыскала как-то сама, увезла

бы! — а ведь упирался бы еще, и благодарен был бы до гроба — а и куражился... И что за черт такой сидит — представишь, что делает она тебе как сам же хочешь — и что-то в душе сопротивляется! И себя жалко — и ненавидишь порой, и ее жалко — и тоже ненавидишь, что есть она на свете, любит еще поди, и опутана, связана душа любовью ее этой. Хоть бы, мечтаешь, был ты один-одинешенек на свете, и всем-то наплевать, и ни перед кем ответа держать не надо; вот душа-то свободна как птица была бы, вот было бы счастье-то! Да хоть бы, думаю когда, померла она, мне все легче стало бы; грустил бы в думах, и покой был бы душе, и облегчение. Хоть бы забыла меня совсем, совсем! А представишь так — и тоска-злоба наваливается: хочешь ведь, чтоб мучилась она по тебе — а сам же жизнь отдать готов, только б мучений ее этих не было! Как же это так человек-то устроен?.. Иногда кажется — все же я правильно, хорошо решил. Может, вышла она давно за хорошего человека, дети уж большие; на ней глаз многие держали. Счастья иногда прошишь ей и плачешь... А зачем тогда я посылаю-то ей? Я здесь, как собака, а она поплакала да забыла? — ну нет... злоба берет!.. А и обратно — ведь прожила б уж она как-то без денег моих, — зачем же я душу-то ей рву, о себе напоминаю?.. Да что ж теперь... свыкся со всем, свыкся. Это все поначалу больше... а дальше все по привычке становится. У меня ведь и кореша есть, и бабы тоже бывают; жизнь — она ведь у всякого жизнь. И только хочется все же, наверное, чтоб уверилась она, что нет уж меня давно на белом свете... чтоб успокоилась бы душа ее, — и моей бы тогда спокойней было.

Он высморкался, вина выглотал, закурил...

— Такую услугу я тебе могу оказать, — помолчав, сказал человек.

— Ты чё?

— Буду скоро в тех краях.

Гена поморгал:

— Да тебе что ж за охота?..

На пустеющих прилавках собирали непроданное и пересчитывали выручку. Движение почти прекратилось с сетками и пляжными сумками.

— Говори — хочешь?

— Ты всерьез что ли?..

— Сделаю я тебе. Точку поставлю — и определенность. Будет покой тебе, и ей будет.

— Покой... Одна в жизни точка, — поделился Гена из своих истин, — остальное запятые все.

Тот угол рта скривил.

* * *

Из мягкого вагона он сошел на перрон северного городка в последних числах августа — в белом югославском плаще, со вкусом поскрипывающим польским чемоданом.

Позавтракал в кафе на пустыре центральной площади.

— Не поеду, — отрезал таксист.

— Пять.

— На перевал не вытяну.

— Семь.

— И обратно пустым.

— Червонец.

Разъезженная «Волга», верно, еле тянула подъем. Сосны на сопках уходили теряющими цвет волнами — от табачно-зеленого к сизому вдали. Сойки кричали. Желтая морошка крапила мхи.

С перевала открылся серый в блесках залив. Песчаные островки лучились соснами.

Шофер опустил козырек от солнца.

— Красиво, — сказал Виктор.

Шофер жевал папиросу.

Остановились в деревне у мостика. Соломинки неслись в ручье. Коза косила ясным глазом. Велосипед косо катил под стриженным мальчишкой.

Виктор остановил его за руль.

— Прасол, где живет Анна Емельяновна?

— Вон, в третьем доме, — насупись, мальчишка дергал велосипед.

— Проводи-ка.

— Она, наверно, на ферме.

— Посмотрим.

— Меня мамка послала, дяденька, — угрюмо сказал мальчишка.

Виктор наградил его полтинником.

В калитку мальчишка треснул ногой.

— Тетя Аня-а! Тетя Аня! Спрашивают вас тут...

Женщина вышла, вытирая руки в передник.

— Здравствуйте, Анна Емельяновна.

— Здравствуйте...

— Меня зовут Гурча, Виктор Сергеевич.

— Вы проходите, проходите, — заторопилась она.

В комнате («Простите, прибиралась я...») сели...

Юнолицый Гена с заглаженным чубом был ответственно-суров на фотографии над кроватью с тремя подушками горкой.

Виктор Сергеевич выставил на скатерть бутылку вина.

Напряженно читая его взгляд, она стала механическими движениями собирать на стол.

— Много лет все думал приехать к вам...

— А... — она сглотнула. — Устали, поди, с дороги...

— Вы сядьте.

Она подчинилась в отчаянии.

Он налил стопки, посмотрел ей в глаза, на фотографию, вздохнул и кивнул коротко...

— Гена, — сказала женщина и упала головой на стол.

Она прихлебывала воду и аккуратно промокнула тряпочкой мокрое пятно на скатерти. Виктор Сергеевич загасил папиросу, встал со стопкой:

— Светлая его память...

Спокойная слеза затихла на ее подбородке и упала.

Он помолчал, кашлянул для разговора.

— Вы расскажите, — произнесла Анна Емельяновна, тоскуя и томясь.

Он заговорил с паузами, затягиваясь глубоко, припуская веки.

— ...и когда зашел на катер второй раз пикировщик, — дошел он, — раненые, лежим рядом... И дали мы с ним тогда слово друг другу, — крепко выделил, — матросское фронтовое слово дали: живой кто останется — не забудет другого и волю его последнюю исполнит.

Рассказ его был краток.

Женщина слушала с обескровленным неподвижным лицом.

— Вы ешьте, — сказала она и вышла.

Он выпил и закусил.

Кот приблизился, потерся в ноги. Он поднял его за шкуру.

— Вот так, — сказал он коту и подул на него.

Женщина вернулась с сухими глазами.

— Не верю я вам, — сказала она. — Неправда это все. Я ведь чувствую. Он специально прислал вас. Где он?

Ах ты черт. Ай да баба! Знал Гена, кого выбрать.

Виктор Сергеевич покачал головой.

— Милая Анна Емельяновна... Правда. Я работаю в Коломне, представителем завода по эксплуатации электровозов, — мягко объяснил. — Получаю много, все время в командировках, — вот и посылал иногда.

— Да зачем же, зачем!.. Лучше б вы не приезжали.

Ветер отдувал занавеску.

— Простите меня... — проговорила она наконец.

— Ничего.

— Нет, вы простите. Да и... я ведь вам всю жизнь обязана. Не отблагодарить. А сказали вы правду. Я знаю, правду. Да только... Ведь ждала. Двадцать два годочка все ждала. Жила этим. И теперь уж не перестану ждать, сколько осталось мне. Знаю, — а не могу не ждать.

— ...Мы за то воевали, чтоб жизнь была счастливая.

— И деточек у нас не было...

— У меня тоже нет детей.

— Вы что же, не женаты?

— Женат.

Он не спеша шел с папироской по дороге, перекидывая с руки на руку легкий чемодан.

— Удружил, — усмехался. — А хрен его знает. Два дня поревет, а там привыкнет — легче станет. Полная определенность. Крути не крути, раз все ясно — точка. Полбанки с тебя, Гена.

Собирал малину с придорожных кустов. Спустился к заливу. Раздевшись, вошел в глгучую воду, отмахал туда-обратно. Ухая, рас-терся — поджарый, в отметилах.

Попутная машина подкинула его до города.

— Опять к нам? — улыбнулась официантка в кафе.

— Моя славная, — подмигнул. — Два бифштекса, бутылку «три звездочки» и плитку шоколада.

Когда принесла, шоколад пододвинул ей.

— Спасибо, — мотнула она завитушками.

— После работы свободна?

— А быстрый вы.

— Быстрый, — подтвердил он.

Он сидел до закрытия, слушал музыку, еще заказывал: угощал соседей.

— Анечка, будешь ждать меня двадцать два годочка? — в сгу-стившемся гомене подсек официантку. Она сделала глазки:

— Пьете вы много.

— Ничего, — сказал он. — Я умею.

— Это вы все умеете.

Из погасшего кафе они вышли под руку в половине первого.

Их ждали.

— Что, — весело оскалил Гурча золотые зубы, — поговорить надо?

— Догадливый, — породовался передний, столб.

— Разойдемся миром, ребята, — сказал Гурча.

— Конечно разойдемся. Морду тебе набью и разойдемся, ты не бойсь. А с тобой, Анька, разговор отдельно, шкура дешевая.

— Те-те-те, — процокал Гурча и ударил правой. Столб согнулся и лег на землю.

— С дороги!

Трое надели разом в беспорядочном махании. Он отпрыгнул к витрине. Плюнул в лицо — лягнул в пах — один скорчился под ногами.

— Калечить буду... — прорычал Гурча.

Длинный встал. Слева кряжистый нацелил мощный кулак — он уклонился — загремела обсыпаясь витрина — отскочил.

— Все, падала... — длинный достал нож. Четвертый, придвигаясь, пристраивал на руке кастет.

Гурча качнулся влево-вправо согнувшись, вскрикнув прыгнул вбок, пятерней ткнул ему в глаза.

Милицейский свисток расверлил слух и придвигался быстрый топот. Гурча побежал вдоль стены к черному проходу между домами, но брошенный с шести шагов вдогонку самодельный литой кастет попал ему в затылок, и он с маху распластался на асфальте, раскинув полы белого плаща, подломив под себя левую руку и выбросив вперед правую с золотым перстнем на мизинце.

Ночью сидел в камере на нарах, осторожно трогал разбитый затылок. Зло затягивался добытым чинариком.

«Так сгореть, — шурился, аж скулы сводило в презрении... — Подрывать отсюда, пока не расчихали. Запросы, идентификация, тра-та-та, мотай чалму: семь отсидки, да три за побег, да здесь до-десят. Пришить-то ничего не сумеют — вот уж шиш, чисто все; мало и так не будет. Эть твою, не было печали. Ну как сопляк, как фраеришка. И за каким хреном? Не-ет, подрывать отсюда».

ПОЖИВЕМ — УВИДИМ

Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие — в нижний срез башни. Рев шестисотсильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора! Удар рукой по спуску.

Прет.

Все.

А-А-А-А-А!

Скрежеща опустился искореженный пресс небосвода — белый взрыв, дальний звон: мука раздавливания оборвалась бесконечным падением.

— Жора! Жора, милый, ну... — Георгий Михайлович напрягся и заставил глаза открыться. По мере того, как лихорадка еженощного кошмара замирала, сознание начинало выделять ощущения: тикал будильник в темноте... Жена еще подула ему в лицо, погладила, отирая пот со лба и шеи; сев, стянула рубашку, прижалась к нему в тепле постели...

Подводный цвет уличных фонарей проникал в окно — большое, во всю стену, как витрина. Что-то беспокоящее было в этом свете.

Очень большое окно...

И черные бархатные занавеси — были ли?

Свет — мутный, зелено-лимонный — стал уже ярко! что за свет?!

Мышцы обессилели в сыром и горячем внутреннем гуле. Спеленутое ужасом тело не повиновалось. Закостенела гортань. В смертной тоске Георгий Михайлович издал жалобный стон...

...И проснулся окончательно.

Зажег настольную лампу.

Фотография жены на ночном столике.

Закурил.

Усмехнулся криво.

Ныла раненая нога (тот бой). Должно быть, к оттепели. Зима, зима... Луна висела на небе, как медаль на груди мертвеца. И лишь изредка предутренняя тишина нарушалась шумом проезжавших по улицам такси.

В пять часов Георгий Михайлович встал, накинул халат и тихонько, чтоб не разбудить соседей, понес на кухню чайник. Метнулся в щель одинокий таракан; натужно закашлял в своей комнате астматик Павел Петрович.

Пока закипал чайник, Георгий Михайлович пожал плечами и выкурил еще одну сигарету, мурлыча себе под нос крутой мат солдатской песенки.

Чайник зашумел уютно и дружелюбно, как какое-нибудь домашнее животное. В сущности, надо б было купить термос, но с чайником как-то веселее.

Будильник в комнате показывал уже четверть шестого. Георгий Михайлович заварил чай, сдвинув на край стола стопку проверенных вечером сочинений 9-го «Б»: «Образ Печорина». (Класс обнаде-

живал похвальным количеством споров; содранных с учебника и стандартно-убогих отписок насчитывалось лишь восемь из двадцати девяти — и столько же двоек, за чем следовало ждать незамедлительного брюзжания начальства. В основном же 9-й «Б», мимолетно отсоболезновав «трагедии лишнего человека», «жертве эпохи», Печорина тем не менее категорически хаял за «ужасный эгоизм», «сплошной вред» и «вообще за подлость»; даже «безусловная его храбрость» им не импонировала. Самостоятельность суждений Георгий Михайлович всячески поощрял (даже провоцировал) и, сознавая предел постижения шестнадцатилетним народом 9-го «Б» противоречивости бытия, к их точке зрения на многострадального эгоиста относился одобрительно — хотя, нельзя отрицать, это несколько расходилось с тем, что им полагалось думать по программе.)

Книги равнялись в самодельном, до потолка, стеллаже, как солдаты на плацу (Георгий Михайлович прощал себе единственно слабость к мысленным военным сравнениям). Он поводил рукой по корешкам, вытащил том Марка Аврелия, раскрыл наугад и стал читать, устроившись поудобнее в кресле. Кресло было старое, из потемневшего дуба; потертая кожаная обивка давно утратила первоначальный вишневый цвет.

Георгий Михайлович читал, курил, прихлебывал крепкий чай, и постепенно запах легкого болгарского табака и свежезаваренного чая смешался со специфическим запахом старых книг и деревянной дряхлеющей мебели, и добрая в своем суровом спокойствии и приятии жизни логика римлянина накладывалась на привычную эту гамму утренних запахов, и Георгий Михайлович почувствовал, как возвращается к нему обычное тяжелое равновесие после обычного тяжелого пробуждения.

Без двадцати семь, как всегда, зазвонил будильник, ненужно и жестко. Насмешливо скосился Георгий Михайлович на то место, где положено помещаться сердцу, отпил полстакана настойки валерианового корня (знакомый врач утверждал, что это лучше капель). Взялся за гантели, презрительно поджав губу. Позанимавшись пятнадцать минут, с ненавистью прислушался к сердцу и надел боксерские «блинчики». Провел раунд с висевшим в углу мешком и раунд с тенью, приволакивая раненую ногу, сопя в такт ударам (посуда в серванте позвякивала).

И когда после холодного секущего душа причесывал в ванной остатки шевелюры и скоблился старой золингеновской бритвой, зеркало отражало бледное, но собранное лицо, энергичный рот и рыжие, равнодушные с издевочкой глаза — как тому и следовало быть.

Стакан вымыт, со стола убрано, пол подметен, галстук завязан на свежей сорочке небрежно. Все? — все! — поехали.

Крыши синели выпавшим с вечера снежком, а внизу, под ногами, брызгала размешанная грязь тротуаров, которые дворники посыпали солью. Как жук с широко расставленными желтыми глазами полз-летел трамвай, перемигнувшись в темной траншее улицы с зеленым огоньком светофора. Ожидающие, топчась перед стартом, ринулись плотно.

Школа горела казенными рядами всех окон трех своих типовых этажей. Разнокалиберные фигурки вымагничивались из темноты в дымящийся дыханием подъезд. Ежедневная премьера.

«Здравствуйте, Георгий Михайлович», — среди ладов и голосов. Здравствуем, здравствуем, куда мы денемся; спасибо, ребятки, и вам того же.

Преподавательский гардероб — дамский кружок: восхищение прослоено шипящими нотками — Софья Аркадьевна с простодушием молодости демонстрирует очередную «скромный деловой костюм». Софья Аркадьевна «заигрывает с учениками», «ищет дешевого авторитета» (небезуспешно). Софью Аркадьевну не любят — раз в неделю в учительской она плачет в углу за шкафом. Высокая успеваемость, дисциплина на уроках и университетский диплом усугубляют ее вину.

Учительская: некое сгущение энергии начала дня. Подкрашивают губы, поправляют чулок (что скажешь... остается отвернуться). Вера Антоновна (химия) строчит за неудобным журнальным столиком план урока (втык последней инспекции роно). Мнение и новости — зеленый горошек, «Иностранная литература», больничный, колготки, детский сад. Канцелярская чистота — фикус отражается в паркете; на шкафу глобус, которым никто не пользуется: в солнечные дни фикус затеняет его, и чем-то это симпатично при всей наивности подобной символики.

Две проблемы: как воспитать учеников интеллигентными людьми — общаясь с тридцатью за раз трижды в неделю (и программа! программа!), — и как ладить с немолодым женским коллективом... Второе проще: Георгий Михайлович предпочитал общаться только с другим мужчиной — математиком. Математик Георгию Михайловичу нравился. Математик имел: тридцать лет от роду, тридцать часов нагрузки, любовь к математике, нелюбовь к методике, жизнерадостный характер и соответствующую ему коллекцию галстуков тропических расцветок. Ну, а первое, естественно, требовало постоянных поисков конкретных рецензий.

Звонки загрохотали как к страшному суду: казалось, мозги трескаются, резонируя сокрушительной вибрацией. Латунный, медный, бронзовый школьный колокольчик-звонок — увы, подверстан уже к гусиным перьям и свечам.

Полка с классными журналами пустеет.

Стихает гомон. 10-й «А» встречает напряженно. 10-й «А» думать не желает. 10-й «А» желает поступить в институты. Рослые, взрослые — покуда не являют себя в удручающих речах... Если в чем и проявляется юношеский негативизм — то только не в критическом усвоении материала. Согласны со всем и на все — только бы не иметь неприятностей. Или наоборот — рано умнеют?.. И то — не мы ли виноваты, вбивая «правильность». Но четыре года вел! Куда сквозь них все проваливается? Сам дурак — пора понять, привыкнуть.

— Можно войти? — ясный румянец, каштановая грива, достойная сокрушенность в позе — Костя Рябов. (Тон легок — четверка на прошлом уроке.)

— Разумеется, уж коли сломались будильник, дверь и трамвай! Садись.

Тишина перед опросом — ну как перед атакой. Только лампы дневного света гудят, подрагивают в черных окнах.

— Рябов! — (вот так физиономия!..)

— Й-я?..

— Как вчера сыграл «Спартак» со СКА? — (это тебе уж в наказнице).

— Ш-шесть — два.

— Спасибо. Последняя цифра, кстати, какая-то неприятная, ты не находишь? Садись, садись.

С трагическим видом простукала дорогими сапожками к столу Лидочка Артемьева; оглядела пространство, облизала губки...

— Лида, мне представляется, что сама Мария Стюарт не смогла бы взойти на эшафот с большим самообладанием. Гарявин, кто такая Мария Стюарт? Напрасно — читать Цвейга сейчас модно. А кто такой Брабендер? Видите! а ведь баскетбол сейчас менее моден. Лида! Не бойтесь ничего и отвечайте честно и прямо — вам, лично вам, нравится Ларра?

— Вообще... да...

— Еще бы нет! Герой! Ситуация: обычная девушка ваших лет встречает такого героя. Вопрос: будут ли они счастливы?

Чем-то мне моя работа напоминает реанимацию, подумал Георгий Михайлович. Расшевелишь — живут, три дня прошло — пш-ш-ш, глаза стекленеют.

Лидочка с честной натугой предъявила собственных мыслей на четыре балла. Очевидные резоны Георгия Михайловича души ее явно не задели, и она удалилась на свое место походкой, приблизительно изображающей: встретиться мне такой, и все будет замечательно, а прозу мы презрим.

Обстоятельный Шорников, помаргивая и хмурясь, деловито раскритиковал старуху Изергиль. Переведя его занудство из плана «литературного» в «жизненный», удалось выяснить, что лично его, Шорникова, не устраивает в старухе способность утешаться, не храня верность единственному до гроба.

— А Наташа Ростова?

Походя перепало и Наташе.

Сторонник верности до гроба обнаружил некоторые убеждения на этот счет и даже известные способности их оборонять, и пять баллов заслужил. И пусть думает так подольше, не повредит.

Захлебывание фанфар и барабанный треск: Таня Лекарева пропела дифирамб Данко. Пришлось напомнить концовочку с отгоревшим сердцем, на которое наступили ногой, гася искорки — как бы чего не вышло. Забуксовала...

— Стоило ли ради таких жертвовать собой?

— Не стоило...

— Прискорбный вывод. Значит, все сказанное тобой неверно?

— Верно...

— То есть он все-таки совершил добро?

— Да...

«Книжки — книжками, жизнь — жизнью». Хоть пять процентов — но усвоите для себя, а не для аттестата. Ничего, вы теперь у меня над «Челкашем» поломаете голову; на гуманизме из учебника не выедете, я вам задам китайскую задачу о цели и средствах. Любители готового... ну так сами и рвутся в бараны!..

После второго урока (5-й «А», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») — окно. Георгий Михайлович взял полистать в библиотеке методическое пособие, что вообще делал редко. Обложка была захватана до бархатистой ветхости. А листы — белые, пустые, как пачка салфеток. Впрочем, Георгий Михайлович не удивился.

В учительской холодно. Ну еще бы, свежий воздух важнее всего. Георгий Михайлович начал раздражаться. Не успел закурить — техника.

— Директор запретил курить в учительской. Ну вы же знаете. И на паркет сорите.

Все разумно, чулки поправлять можно, курить нельзя. В туалете мне курить? Да хоть бы зима эта поскорее кончилась!..

— Вот и мой тоже курил все, дымил... — мирно бурчала себе под нос техничка, смахивая с паркета воображаемый пепел... Реальный пепел лежал в кулечке, кулечек же Георгий Михайлович держал в руке.

А дальше день, приняв обычный разгон, пошел накатом. Ежедневная аналогия жизненного цикла: долги обилием деталей и оттенков утренние часы подъема в гору — но вот где-то за плотной белесо-сумрачной пеленой солнце переваливает вершину, и сливаются в убыстряющемся спуске спицы часовых стрелок в колесах времени.

После урока вызвал к себе директор. Назначили его в прошлом году; со старым-то они ладили.

— Георгий Михайлович, — начал мягко (с превосходством!), — четверть едва в начале, а у вас успела вырисоваться совершенно неудовлетворительная картина успеваемости...

— Сегодня еще пять двоек, — угрюмо отсек Георгий Михайлович. Тема была бесперспективной.

— Учитывая ваш педагогический стаж, могу сделать единственное заключение — вы проявляете решительное, непонятное мне нежелание считаться с реальным положением вещей...

Как может человек ходить в таких брюках? Как мятый мешок. У него ведь жена есть. Семья, как говорится, дети. Последние слова его Георгий Михайлович воспринял в свою пользу, ухмыльнулся. И ухмылка была истолкована не в его пользу, задела.

— А ваши самоуправные эксперименты с программой?! — директор обладал хорошо поставленным голосом, и сейчас этот голос взвился и щелкнул, как кнут.

...Кобура привычно оттягивала ремень. Бледнея, Георгий Михайлович рванул трофейный вальтер, взвешенной рукой направил в коричневый перхотный пиджак. Коротко продрожав, пистолет выхлестнул всю обойму, восемь дыр дымились на залосненном брюхе.

— А за это вы еще ответите, Георгий Михайлович. — Директор сел, звякнул графином, отпил воды из стакана. — Вы проявляете решительное, непонятное мне нежелание срабатываться с коллективом. И не исключено, что на месткоме встанет вопрос о вашем пребывании в школе. Тем более что литераторов, как вам, должно быть, известно, в Ленинграде хватает.

С четырех до пяти Георгий Михайлович медленно походил вдоль набережных. Побаливал желудок, по-солдатски борясь со столовским обедом, и Георгий Михайлович пожелал ему удачи.

Низкий калено-медный солнечный луч пробился со стороны Гавани, заиграл шпиль Адмиралтейства. Карапуз, гулявший с молодой

румяной мамой, посмотрел на солнце, сморщился и чихнул. Мама улыбнулась, взглянув на Георгия Михайловича, и он тоже улыбнулся.

На белом поле Невы двое играли, дурачились, он догонял, девушка уворачивалась прямо из рук, и отсюда ощущалось ясно, как они раскраснелись и запыхались оба, и смеются, хотя лиц на таком расстоянии было не разобрать, да и голоса не долетали.

Георгий Михайлович подошел к сфинксу, снял перчатку, хлопал сфинкса по каменной заиндевшей лапе.

— Ну, как живешь? — спросил он.

— Да неважно, — сказал сфинкс. — Простудился что-то.

— Ничего, — утешил Георгий Михайлович. — Пройдет.

— Холодно тут, — пожаловался сфинкс. — Мерзну, знаешь.

А ты как?

— Нормально, — отвечал Георгий Михайлович. — Не тужи, потеплеет. Ну, всего хорошего.

— Счастливо, — пожелал сфинкс. — Ты заходи.

Дома Георгий Михайлович отдохнул, прочистил забившуюся раковину на кухне, пожарил себе картошки, пообщался с соседкой — как все дорого, да-да, эта ужасная молодежь, — посмотрел третий период хоккея по телевизору. Поковырялся над пожелтевшей диссертацией — об использовании и развитии стиля Толстого Платоновым.

В одиннадцать послушал последние известия.

Подумал, вздохнул, пожал плечами, развел руками — принял две таблетки димедрола.

Заснул он быстро, как засыпают солдаты и дети. Как засыпали бы солдаты и дети, будь все устроено так, как должно бы, наверно, быть устроено.

...Затвор лязгнул. Последний снаряд. Танк в ста метрах. Жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие — в нижний срез башни. Рев шестисотсильного мотора. Пыль дрожью по броне. Пятьдесят тонн. Пересверк траков. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Пора. Удар рукой по спуску.

Вспышка. Удар. Танк встал. Жирный дым. Пламя.

Георгий сел на станину. Трясушимися руками, просыпая махру, свернул самокрутку. Не было слюны, чтобы заклеить. С наслаждением закурил.

КОЛЕЧКО

1

— А и глаз на их семью радовался. И вежливые-то, обходительные: криков-ссор никогда, всё ладом — просто редкость...

И всё — вместе только. В отпуск хоть: поодиночке ни-ни, не водилось; только всё вместе. И почтительно так, мирно... загляденье.

Не пил он совсем. Конечно; культурные люди, врачи оба. Тем более он известный доктор был, хирург, к нему многие хотели, если операцию надо. Очень его любили все — простой был, негордый.

...Они еще в институте вместе учились. И уж все годы — такая вот любовь; всё вместе да вместе. На рынок в воскресенье — вместе; дочку в детский сад — вместе. Она с дежурства, значит, усталая, — он уж сам обед сготовит, прибрано все. Или ночью вызовут его — она спать и не думает, ждет. В командировках — звонит каждый день ей: как дела, не волнуйся.

К праздникам ко всем — друг дружке подарки: одно там, другое... а дочка та вовсе ходила как куколка, ясное дело. И уважительная тоже, воспитанная, встретит: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете». Крохой еще — а тоже вот; воспитание. А постарше, и в институте: «Не нужно ли чего, не принести ли?..» Радость родителям — такие дети. Какие сами — такую и воспитали.

Услышишь поди, муж где жену бьет, гуляет она от него, дети там хулиганят... или врачи те же лечат плохо... а эти-то — вот они: и даже на душе хорошо. Ей-же слово.

Поживешь — может, плохого в жизни и больше. Как глядеть... А только, подумать, не в зимогорах ведь, — в таких людях главное. Они основа... настоящая...

2

— Сюсюканье это... смешно даже. Легкомысленность одна... Не обязательно же — попрыгуньи, стрекозлы; нет... легкомысленность неглубоких натур: как повернется — к тому душой и прилепятся. Растительная привязанность. Тут не постоянство чувств, тут скорее постоянное отсутствие подлинных чувств. Чеховские душечки. Старосветские помещики...

Он мне вообще никогда не нравился: ни рыба ни мясо. В компании пошутить — поддержит, погрусти — поддержит: сам — ничего. А она... смурная всегда была какая-то. Два раза прошлись, трах-бах!.. женились... Два притопа три прихлопа...

Не могу объяснить, вроде напраслины... но несерьезно это выглядело, как ах-любовь из плохого кино.

Ну конечно — он фронтовик был, с медалями, — так у нас половина ребят была после фронта. Конечно — четвертый курс, подавал надежды в хирургии, у девочки головка закружилась... много ли такой надо.

Вот друг у него был, Сашка Брянцев — душа парень: веселый, умница... вот бы кому жить да жить... Все опекал его, за собой таскал; тот на все его глазами смотрел.

А в этой — ну что увидеть мог; пустынька фишочка с первого курса. Улыбнулась ему — и взыграло ретивое.

Нет, я лично их тогда не одобряла. Конечно, у каждой свои взгляды, каждому в жизни свое, но я лично для себя не о таком мечтала. Все-таки о настоящей, глубокой любви мы все мечтали...

И промечтались... некоторые... И наказаны за идеализм дурацкий свой. Засекается крючок, дева старая. И хоть бы ребенка родила, пока могла; дура тупая!..

Да все-то достоинство их — в примитивности характера, видно: хвататься за счастье какое подвернулось и держи крепче, и будь доволен; но уважать за это — увольте...

3

— И по прошествии двадцати пяти лет окончательно явствует, что парнишка-то нас всех обскакал. И ни-чего удивительного: этот с самого начала свое туго знал.

Начиная буквально с того, что поселился с Сашкой Брянцевым. Брянцев: с кем, кричит, комнату на пару? Этот — тут как тут; набился. Умел влезть. Стал Сашкиным лучшим другом. Сашка-то везде был центральной фигурой — и этот при нем. В любой компании — желанные гости. На практику — Брянцев любого обольстит, завладеет лучшим направлением — и его следом ташит. Конспекты — одни на двоих; причем тут Брянцев не переутруждался. Так тандемом они светилами и были. Но Брянцев-то скорее издавал свет, а этот-то — отражал. Спец по тихой сапе.

Спокоен, упорен, занимался много — это да. Это было. И расчетлив же, клянусь, — на удивление; законченный прагматик, чужд любым порывам.

Грешно говорить, но прикинь-ка. Вот погиб Брянцев, лучший его друг. Единственный даже. Опустим эмоциональную сторону — мы не вчера родились: тут и фронт сказывается, и вообще он эмо-

циями не перенаделен... не будем драматизировать. А чисто житейски — имеем следующие проблемы. Во-первых (не по значению, а в порядке возникновения), придется вдвое платить за жилье — а денег ох не густо; или пускать кого, малопривлекательно, друзей нет; или перебираться в общежитие, а среди года не дадут, и независимость не та, условий поменьше и для занятий — а долбил он зверски, — и для веселья — хотя на сей счет он не отличался. Во-вторых: через год грядет распределение, а преимущество в выборе предоставляется семейным с детьми до года; да и двадцать пять лет — возраст, жениться все равно когда-нибудь надо.

И выбирается заурядная девочка с первого курса: оптимальное решение. Раз: она его уважает и почитает: он взрослый, способный, умный, подающий надежды, герой-фронтовик, — авторитет в семье обеспечен; его слово — закон. Два: единственная дочь обеспеченных родителей, им подкидывают, в плане материальном он не отяготился, а наоборот. Три: она юна, восемнадцать лет, чиста, достаточно мила, хозяйственна вдобавок: суп в тарелке, девочка в постели, — удовлетворены и потребность в женщине, и тщеславие, и естественное желание нормального быта. Четыре: до распределения они рожают ребенка, и их оставляют в областной больнице. Масса вопросов — одним махом, а?

Пусть я циник, — факты не меняются.

Он идет на место хирурга, и становится дельным хирургом, — по справедливости отдадим должное. Хорошие руки, интуиция; и какая-то демонстративная надежность в характере... У него и научная работа, он и в общественники лезет, и речи толкает, и кандидатскую кропает, и с любым-то умеет поладить, и в результате он областной хирург, и на него очереди, и он кандидат, и депутат горсовета, и вообще не последняя личность. Достать, устроить, — в момент.

Кто удачливей? Гера Журавлев доктор в Москве? В Москве докторов — куда ни плюнь, у Геры гараж в другом конце города, закручен как очумелый. А тут человек — на виду, при верхушке; не-ет, молоток.

И с женьбой — суди: один ребенок — точка; обузы парень никогда не домогался. Тишь, гладь, спокойствие. Не имеет на стороне? чьи гарантии; у таких комар носу не подточит. И кроме — это и вряд ли увязывается с его идеалом хорошей жизни, и только. Благополучная карьера, благополучная личная жизнь. У таких ребят все путем. Реалисты, брат! Рассудочный брак — залог стабильности. Учись! — да поздновато нам...

4

— А куда ей было деваться? Несчастливая девчонка!.. Грехи наши...
Вот как это бывает в жизни.
Она любила Брянцева. Они решили о женитьбе.
Брянцева нашли утром в снегу, с пробитой головой. Послевоенный бандитизм...
Она осталась беременной.
И никто — никто ничего не знал!..
Девчонке восемнадцать лет. Она в помрачении от нереальности происходящего.
Аборты были запрещены.
Довериться? кому, как? чем поможет: сознаться в тайном, подсудное дело, огласка, позор!.. кошмар... жизни конец.
И ни единый — подозрений не положил. Примечали раз-другой ее с Брянцевым — его с кем ни видели: по нем полфакультета сохло... что особенного.
И воспитания девочка была. Позор пуше смерти мерещился.
Что делать!..
И ведь на занятия ходить надо! улыбаться, разговаривать, на вопросы отвечать! очереди занимать в столовой!..
Поехать и признаться к родителям? Кто даст отпуск... неважно... С этим — к отцу-матери... доченька единственная... нет; невозможно.
Нет выхода.
Повеситься.
Да и к чему тут жить... Нет страха: в глазах черно.
Родители... но сил нет.
Но ребенок... Их ребенок... любовь их, плоть их, маленький... ему бы остаться на земле; ему бы жить.
Ах, должен он жить: смысл единственный, да чего же стоит остальное, в конце концов.
И — долг перед любимым: есть долг перед любимым; что тут от подлинного ощущения его и осознания идет, что надуманно, на что инстинкт жизни подталкивает исподволь — кто разберет, разграничит.
Бросить институт, уехать, устроиться на работу, родить...
Куда? Как? На какие деньги?..
Девочка только из-под родительского крыла... Едва в начале — жизнь рухнула. Растить сироту... Одной. Одной.
...Так и возникает дикое для первого восприятия собственных чувств, и укрепляется во спасение: выйти замуж. Избежать позора,

ребенок в семье, устройство всего... Обыкновенное, по сути, решение. Да рассуждать легко...

За кого?.. Ох, не все ли равно! То есть говорится только — не все ли равно, хотя в таком состоянии верно может быть не только все равно, но даже чем хуже, тем лучше: горе по горло — так пусть все под откос, и в мученичестве удовлетворения ищешь. Но каждый выбор понуждает к последующему: решил жить — решай как, далее — конкретней...

Мысль о друге Брянцева была естественной. Он оставался частью его мира, и через это представлялся не совсем чужим.

Стать женой друга — меньший ли грех перед любимым, ближе к нему ведь; или больший — ведь к другу ревновал бы большей...

И попросту: сдержанный, одинокий, не красавец, не юнец... он подходил...

...Ну, трудно ли молодой симпатичной девушке завлечь и женить на себе зачужившегося обычного мужика, не избалованного женщинами и их, в общем, не знающего. Главное — каких мук, какого напряжения ей стоило играть эту влюбленность в него, внутри мертвые от отчаяния и тоски. Сколько же сил душевных понадобилось! И откуда берутся у таких девчонок, — а ведь у них именно и берутся.

И — торопиться приходилось, быстро делать, быстро! Беременность шла; не приведи бог заподозрит, догадается.

Тоже сердце рвет: знать ребенку, кто отец его, любимый, не доживший! или пусть во всем счастливый живет, при живом отце... Любя по-настоящему, им счастья желая, как бы и сам Брянцев распустил...

Другое: открой, что беременна — разбежался он чужую заботу покрывать. С чем подойти, «женись как друг»?.. Слово вылетит: скоро молва... И женится — где зарок, что не попрекнет в тяжелый час, не будет собственную душу грызть и на тебе срываться... Все люди.

Нет, по всему выходило скрывать.

Не девушкой — что ж... дело такое. Ничего. А остальное — он, тихоня, до нее, может, и вообще мужчиной-то не был. Может, и не снилась ему такая.

Совершились ее намерения наилучшим образом. За нос такого провести нетрудно: приласкай — и верти им, любому слову поверит.

Она стала хорошей женой. Лучшей желать нельзя.

Потому и угождала, что дорожила положением своим?

Какую твердость, какую волю надо иметь, чтоб с такой тайной жизнь прожить. Не выдать себя, не обмолвиться.

Нет; всю жизнь не пропритворяешься. Привычка. Роль становится натурой: бывшее так отойдет, и не поймешь: приснилось ли... Привязалась постепенно; были и радости, и счастье, и всякое; жизнь была.

Он оказался хорошим человеком, хорошим мужем: она не ошиблась.

Брак обошелся ей в жестокую цену; она стремилась к нему более всего на свете; та боль скрепляла его.

А вынужденность его не могла хоть сколько-то не тяготить.

Но был еще единственный ребенок и его счастье.

5

— Женщины... смейся и плачь. Вообрази: он все знал. Знал он!

И отдавал отчет в жути ее положения.

Что он должен был делать? Оставаться безучастным? Поддерживать, утешить, — чем мог? не те дела: как поможешь...

Аборт ей сделать на себя взять? Криминал, риск, судьбу на карту... а вдруг неудача, последствия, дознаются...

Она пошла бы ли еще на это. Восемнадцать лет, все в первый раз, жгучая гордость, трепет перед оглаской... понимал: ей и на признание не решиться.

Она здорово держалась! Как понять: самообладание? Или, очень вероятно, то запредельное состояние изнеможения, когда махнешь на все: «Будь что будет», опущены руки, неси течение к неминуемой развязке, истрачены вера и воля, и существу враждебны мучительные усилия к спасению, противоречащему всеподчинившейся логике событий: блаженный наркоз засыпающего на морозе. Опасно затрагивать человека в подобном пассивном смирении с пока неопределенно отодвинутой гибелью. Его оцепенение чувств — неверное равновесие подтаивающей лавины. Легчайшее прикосновение извне может послужить к катастрофе. Как отточить интуицию до ювелирной чуткости... Оскорбишь своим знанием: а она головой отрицательно замотает в ужасе — и после покончит с собой. И все благие намерения.

И тут она явно ищет с ним сближения. Встреча, вторая. Взгляды, интонации, позы, весь этот женский бедный арсенал...

Он не дурак был, трезвая голова, на свой счет не обольщался. Все понял. Понял, и согласился про себя, что для нее это выход и спасение. Так... Это максимум и одновременно едва ли не единственное, чем может он реально ей помочь.

Тут надо немало души. У него достало.

...Он не показал ей, что знает: ни тогда, ни позже. Зачем. Истинное благородство — выше показа.

Вообще собственное благородство вдохновляет к идеализации мотивов. Ну: на одной чаше весов — возможно, жизнь невесты друга и их ребенка; на другой — что, собственно? одиночество — не постыло ли... развестись всегда можно; алименты? ерунда... Чужой ребенок? никто не знает, зато знает он: самолюбие спокойно — уже полдела.

Вначале скрыл — щадя ее и боясь оттолкнуть. Жертвы она могла не принять. Приняв — тяготилась бы обязанностью, благодарностью по долгу — рождает подсознательную жажду раскрепощения, неприязнь.

А позже — обнаружались свои прелести и преимущества. Как жена полностью устраивала. Семья — куда лучше. Дочка славная растет; а больше детей-то не было, может у него своих и не могло быть. Признайся — простит ли унижение, не потеряешь ли ребенка, которого привык считать своим и любишь, к чему все приведет... Нет, если устраивающее тебя положение стабилизировано — не следует нарушать его чем бы то ни было.

Не покинет красшком и лестная надежда, что и сам не так плох — почему самого и вправду полюбить нельзя; хоть разуму известно — да слова, да чувства, да ночи, да тщеславие мужское неисребимое...

Вдобавок тайное знание вселяет силу и власть. Хранишь последним оружием: в таких соображениях и лучший не волен, пусть даже совесть не позволит и в крайнем случае использовать. Отсюда — дополнительная выдержка, снисходительное достоинство вооруженного к слабому.

Разнообразны благие намерения, по которым мы скрываем от ближних знания о них. Тактичность, жалость, любовь, расчет, великодушие и душевный комфорт... Разве всегда один супруг жаждет знать все о другом? А зная — жаждет выложить? Или зная, что другой знает нечто о нем — жаждет услышать? Несказанное — незакономерно к существованию, отчасти и не существует. Мало ли некасаемых семейных мин тикают механизмами к забвению.

6

— Фьюить-тю!.. Не укладывается в толк. Ну... ё-моё! Чего я сейчас не могу понять — почему раньше это никому не пришло в голову. «Кому это выгодно?» Но кто б, непосвященный, свел водино...

Конечно. Он любил ее.

Одному ему, другу, Брянцев поведал секретно: беременна, теперь жениться; в тот же вечер. А он, знакомый издали, он полюбил — да тут Брянцев рядом... все предпочтения, она влюбилась; не суйся. И Брянцев (не трепач отнюдь), эдакий симпатяга, живая душа, с ним и делился заветным: как целовались... как женщиной ее сделал. Та еще пыточка. Молчал: крепок был, да невольно поведением зависишь от сильного. Молчал — до обморочной ревности, стиснутые зубы немели, небось, воображение рвалось как кино-пленка на словах обнаженных, сокровенном полушепоте, в темноте, под последнюю папироску, как это бывает.

Планы безумные перебирал. Надеялся еще на что-то? Женитьбой — на искорку ему дуноло. Конец. И одновременно: случись что с Брянцевым — каюк ей, беспомощность: шаткий момент, единственный шанс. Простая логика, и холодок от нее. Все продумал, все рассчитал, все учел. Семь раз отмерил...

И на следующий день как раз стипендия. С ребятами немного выпили в общежитии и пошли домой. Пришли, Брянцев говорит, посидев: пойду к ней схожу, не так поздно еще. (Она с подругой комнату снимала.) Он — пошли, говорит, вместе в гости. Пожалуйста. Случай подставляется: он сам предлогов искал вечером вдвоем прогуляться из дому; да тут еще снег сыплет. И специально пальто на вешалке в коридоре оставил, и шапку, только куртку и фуражку старую надел. Тепло, машет, закаляюсь. А март, и снежок.

Только вышли — погоди, говорит, папиросы забыл. Быстро вернулся, включил настольную лампу (окно на другую сторону, не видно, но верхний зажечь — по отсвету заметить можно), чтоб в коридор через щель дверную пробивалось, и комнату не замкнул, ключ изнутри оставил. Будто он дома — для хозяйки, предусматривая алиби.

И сунул в куртку, рука в кармане, припасенный обрезок стального стержня.

На улице сугробы, темно, пусто. И перед углом, где у высокого забора намело, тропка узкая в снегу, Брянцев первый шел — он его по темени и хряскнул. Тот оседать — еще раз! Шапку сорвал — и упавшего еще два раза, наверняка. Отвалил его к забору, снег ногой закидал, и стержень в снег. (Голой рукой не брал, без отпечатков, в газету завернул, и руки в перчатках). Ходом обратно. Газету скомкал — в уборную. Порошило — отряхнулся. Минуты три прошло, не дольше. Повстречается хозяйка или спросит — в уборную скажет выскакивал.

При расследовании прошел чисто. Никаких причин, ссор, выгоды. Видел последний, подтвердил. Из дому не выходил. Хозяйка подтвердила. Никаких улик и подозрений. Нервами он будь-будь обладал. Да что и в лице — друг все-таки, некоторые переживания уместны.

...Сошелся его расчет. В точности и тоньше. Девка очутилась при гробовом интересе. А он норовил попадаться на глаза — хотя и остерегаясь. Пусть было ей уж куда не до дедуктивных выкладок — но ее-то и могла озарить истина, зарвись он увлеченно. Кто б ей поверил, нет улик... все равно выдать себя недопустимо.

Предусмотренный вариант: знает от Брянцева, предлагает для выручки фиктивный брак. А там — тихой сапой обрабатывать. Семья, отец ребенку, опора, благодарность... Вероятно, получилось бы. Такие берут не мытьем, так катаньем.

Сложилось же для его желаний намного удачнее. Действительно, когда решаешься твердо любой ценой — судьба поворачивает навстречу.

Жестокое испытание обнаружилось, главная трудность. Любил — сильней законов божеских и людских. Подушку грыз и плакал — двадцатичетырехлетний мужик, который в двадцать старшим лейтенантом был и на фронте ротой командовал. И — прикосновение первое, поцелуй первый, первая ночь. Сознание отрывается. От касаний ее плавился, от наготы слеп.

А волю любви дать не смей! Себя теряй — помни! Поймет — гибель!

Кара и истязание.

Превозмог.

(Ситуация: балансирование на проволоке. И так-то чужая любовь ей тяжка, и догадаться может, — и чтоб уверилась в покое за собственный обман.)

Месяцами; годами. Не скоро бросил беречься, раскрепостился: со временем, мол, полюбил так; и она уже привыкла...

Оттого и любил всю жизнь так сильно, что первый жар не изгорел, калился?..

Ладно в заботливости мог не сдерживаться — на характер, склонный к порядку, спишется: семья — значит заботиться надо.

Но вот сомнение: таким макарком себя давить, ломать, — что хочешь задавить можно. Уже не медовый месяц, не первый годок — столько напряжения по укоренившейся привычке постоянно, что и вправду незаметно для самого любви уже может не оказаться...

Но прожил. С любовью, и с тайной захороненной.

Все же кремень... Кремень.

По сути — изверг, чего там... Убийца, и не просто... Друга — накануне свадьбы. Девушку любил — своей рукой обездолил. Ребенка — осиротил.

Но это — любил!.. Подумать — и жуть оказаться на ее месте... и не одна, наверное, замерла сладко, чтоб ее кто настолько любил...

7

— Нет у меня ощущения свершившейся катастрофы. Странно: естественность и закономерность. Пережил заранее?.. Только не раскаянье. (Глупцы каются. Человек всегда поступает единственно возможным именно для него во всей совокупности данных обстоятельств образом. Кается — из иного положения, и будучи сам иным, изменчив. Кающийся неадекватен совершающему поступок: свидетельство изменения; и свидетельство забывчивости и непонимания человеческой природы, в первую очередь собственной; если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой — сознаешь абсолютную неизбежность прошлого.)

С собой не хитрю. Даже сейчас — я горжусь тем, что сделал: хотел и смог! Самоутверждение?.. Тщеславие перед собой как зрителем?.. О боже — и наедине с собой, сиюсь быть честным — насколько трудно, если вообще возможно, отделаться от роли, которую играешь перед собой же! Несовпадение личности с идеалом?.. «Оно», «Я», «СверхЯ»... Что надумано? Что истинно? Как отделить одно от другого? и возможно ли?.. Мы формируем себя на основе импульсов, эмоций, которые в свою очередь зависят обратной связью от образа мыслей и убеждений, — где определить сердцевину истины, вожделенную точку верного отсчета? И существует ли она?

По здравом размышлении я отвечал себе — нет. Нет. Лишь степени приближения к ней. Проще: до конца себя не познаешь, но можно достаточно глубоко.

Почему я не покончил с собой? Незачем. Взвешено, отмечено, отрезано... Подбита черта. Что под ней? Восемь лет заключения и потеря всего в жизни (да хоть бы и самой жизни) — нет, недорогая цена за женитьбу на единственно любимой женщине и четверть века счастливой жизни с ней. Счастье... соответствие всех условий жизни твоим истинным потребностям... Я жаждал — и получил. Единственное: так ли? Если был счастлив и потерял все — зачем остался жить?..

Вот такая штука — с каждым серьезным поступком меняешься ты, и меняется мир для тебя. Поэтому ты никогда не получаешь именно то, чего добивался. В самом лучшем случае — получаешь

близкое (в собственном восприятии, разумеется, а не как нечто объективное). Но поскольку любовь, ценность духовная, субъективна, именно здесь цель менее всего оправдывает средства. Платишь дорого — можешь возненавидеть, или разочароваться добившись; платишь дешево — можешь охладеть... Добиваясь — перестаешь быть собой! Вплоть до парадоксального рассуждения: любить — желание обладания и одновременно желание ей счастья; но счастлив любящий; любовь редко взаимна — разлюби, пусть ломая себя, чтоб легче и вернее добиться любви, — и исполнишь долг любящего: дашь ей счастье любви, причем овладеешь ею; да только, разлюбив, не пошлешь ли все к чертям за ненадобностью?.. Нет; задача не имеет решения.

Но если б только в этом было дело... Если б я мог сейчас с уверенностью сказать себе, что да, любил ее настолько, и отсюда все последующее...

Брянцев был блестящ. Умен, остер, обаятелен, красив. В молодости не понимаешь исключительности ближних. Для юнца знакомая красавица — просто симпатичная девчонка, гений-сосед — просто способный человек, герой — просто не трус. Наживая долгий опыт, сознаешь им цену. Им и себе.

Он был легок. Я никогда не был легок. Может ли быть тяжелый человек счастливым? Почему нет. Но обычно счастливы легкие. Два человека — жизнь их одинакова: один полагает себя счастливым, а второй — несчастным. Претензии мешают? Характер, характер!..

Он был счастлив. Удачлив. Меня воспринимали при нем, не самого по себе. Причем — он меня в такое положение не ставил. Отнюдь — великодушен был, добр; благороден, черт возьми. Да если всем наделен и никакая конкуренция не опасна — чего же не быть благородным. Все равно первый — да еще и благородный. Сильному просто быть добрым, его самолюбие лишь выигрывает. Он от этого еще больше на свету, а ты — в тени. А он и на тебя посветит — его не убудет.

И это — не заслуженно, не горбом, а — благодетельствован природой. Я занимался ночами — он слыл корифеем. Я был умнее — он блистал. Я был глубже — он вешал лапшу на уши. И все его любили, — меня же принимали как его друга.

Мог ли я в глубине души не желать ему низведения с высот до надлежащего уровня — ниже моего: и чем ниже, тем лучше!.. Зависть? Зависть. Даже — я желал его гибели. Даже — ненавидел. Несправедливо, несправедливо! ему быть таким, а мне таким! Его дружба мне льстила: я ненавидел и за то, что воспринимаю лестным его благоволение: что же, я ниже его? Почему, за что?

Но — другу — вряд ли я много сильнее желал ему бед, чем любой — ближнему. Редко ли люди, сочувствуя словами и лицом, да и поступками, и переживая искренне — в глубине души испытывают удовлетворение от неудач и несчастий ближнего: тем удачливее и значительнее воспринимают они собственное существование. Инстинкт самоутверждения?.. (Отчего мелькают иногда противоположные мысли об убийстве самых родных людей? Фрейдизм, мазохизм... убого сознание, глубоки его колодцы.)

Возможно, я просто низкий завистник. Элементарный подлец. Подлец с волей и крепкими нервами. И с фронта с умением убить человека деловито и без истерик. А убил бы я его, не будь на фронте? Трудно ответить. В жизни каждое лыко в строку.

Как искренне он делился своими успехами! Как подкупающе, заразительно полагал, что я тоже должен радоваться его радостям! Откуда этот животный эгоцентризм жизнерадостных людей?

Мы познакомились одновременно, я полюбил — она уже влюбилась в него, конечно... я не подавал виду — я не имел шансов. Я любил — а он рассказывал мне, как продвигаются дела. И я поддакивал поощрительно!

Флюиды, говорят, флюиды... Чушь! Он бы умер на месте от одних моих флюидов — он здравствовал, и все шло ему в руки само. Он таскал девок — я любил один раз. Я становился как стеклянный от звука ее голоса — он с ней спал и передавал мне подробности. Я встречал ее в институте — доверчивая девочка, ясное сияние, — и представлял, что они делают вдвоем, и как делают, ее лицо и тело, и жил отдельно от себя, отмечая со стороны, что это я и я живу.

Да я бы сжег этот институт, весь этот город со всеми обитателями, чтоб ничего этого не было и она любила меня! Чего мне было бояться? Я воевал, я видел, сколько стоит человеческая жизнь. Жениться на любимой — что, меньше смысла чем взять высоту или держать рубеж?

Я рассчитал правильно. Гарантий не было — но я получал максимальные шансы. Я сделал все что мог.

Но дальше... Убийство из ревности — старо как мир. Смягчающее обстоятельство. Кто не стремится устранить соперника. Во многие времена подобное числилось в порядке вещей. Но если бы и сейчас это было в порядке вещей...

Когда я убил его — как-то сместилась система ценностей. Я продолжал ненавидеть его — за то, что она все равно его любила, все равно он был ее первым, все равно она, полуробеночек, моя любимая, была от него беременна. И — мне было его и ее жаль. И —

я чувствовал себя и здесь униженным: он вынудил убить друга в затылок, а сам никогда не поступил бы так! но сам никогда не попал бы и в подобное положение, удачливый красавец! А попал бы? проиграл бы благородно... Но от чего в силах отказаться — того не хотел по-настоящему.

Но вот что — я не торопился в том, ради чего убил, — и не мог объяснить себе причину этой неторопливости. Изменилось что-то, сдвинулось... Я наблюдал за ней — именно наблюдал; я знал один, каково ей, и следил с холодностью и удовлетворением естествоиспытателя, что она предпримет. Злорадство? Месть за оскорбленное чувство? Страх за свою шкуру, боязнь что она догадается? Торможение реакций в результате стресса?..

Так или иначе — женитьба на ней уже не представлялась мне обязательной! Более того — временами мне вовсе не хотелось жениться на этой девчонке, беременной от другого, не любящей меня и в общем не стоящей ни меня, ни всего, что я сделал! Еще более: мне представлялось, как славно, если б они поженились с Брянцевым, и я бы пил на их свадьбе, и у них родился ребенок, и так далее.

Короче — я воспринимал ее как чужую. Не как вожделенную, ради обладания которой убил друга. На черта я все заварил, пытал я себя? Что за помрачение на меня сошло, что за сумасшествие? Порой доходило до того, что я мысленно молил Брянцева и ее о прощении.

Неужели я настолько ненавидел Брянцева и завидовал, что не ее любил и ревновал к нему, а его ревновал к еще большему счастью, чем он и так имел? Я отвечал себе: не может этого быть! отвечал без уверенности...

Или — сладко лишь запретное? Удовлетворенное самолюбие успокаивается? Я и сейчас не могу толком разобраться... Однако — что-то сместилось во мне. Или в мире для меня. Или сам я сместился в мире. Что-то сместилось.

Я не допускаю, что перешел в иное качество лишь вследствие убийства. Я пробыл два года в пехоте на передовой — навиделся смертей и убивал сам; опуская то уже, что я врач, а здесь и этот профессионализм играет роль.

Возможно, я отчасти ненавидел ее — виновницу убийства мною друга; подсознательно мучился сделанным — и настраивался против нее?..

В любом случае — прежняя любовь исчезла. Я пребывал в неожиданном для себя и диком состоянии; и в дикости обретал какое-то мазохистское удовлетворение.

И тут события приняли наилучший для меня оборот — наилучший для меня бывшего, и совершенно ненужный для меня нынешнего. Она решила все скрыть и выйти за меня замуж.

Я почувствовал себя полновластным хозяином положения. Но и в то же время почувствовал себя жертвой — жертвой собственного воплощенного плана, который теперь диктовал мне мое прошлое, настоящее и будущее; я пытался противиться, бессильный. Теперь уже она вынуждала меня к действию. И неприязнь моя увеличивалась. Презрение! — предает память Брянцева, их любовь! пытается провести, обмануть меня! мелкая душа!..

Жалость, остатки внутренней привязанности, комплекс вины, просто физическое влечение — и отчуждение, безразличие, злорадство, нежелание взваливать обузу, — я колебался. Себя я расценивал как отъявленного негодяя — не без известного удовольствия: но к ней отделился свысока! Я переступил предел — происходящее словно отделилось стенкой аквариума. В редкие моменты эта стенка преодолевалась жалостью — когда отмечал подавляемое дрожание ее губ, удержанные на глазах слезы; но проходило быстро — я был трезв. (Или, если играть словами — напротив, пьян до остекленения?)

Я стал рассеян; это приписывали гибели Брянцева. Однажды, когда я, очнувшись, ответил невпопад, был вопрос: «Ты что? Влюбился, что ли?» Сжавшись от укола, я механически отыграл: «Да». Пустяк — но я не мог отделаться от впечатления, что это явилось той точечкой, которая все завершила; перевесившей каплей...

Нет; главное — я знал, что такое настоящая усталость: она ложится на нервы, и делаешься безразличным к самому-рассамому желанному. Надо пересилить себя — и выполнять намеченное. Это как второе дыхание. Желания возвращаются вместе с отдыхом и приведением к норме нервов из перенапряжения. Отказаться в состоянии изнеможения от раз решенного (изнеможение еще надо уметь определить, обычно самому оно представляется успокоением и трезвостью), когда чувства и разум услужливо доказывают нерациональность дальнейшей борьбы и никчемность результатов — это, собственно, и есть малодушие. Умение достигать — скорее не умение добиваться желаемого, а умение заставлять себя добиваться представляющегося ненужным, но задуманного когда-то; а иначе серьезные дела и не делаются.

Начавши кончай. Иначе для меня все теряло смысл. Это был долг перед собой уже. Больше: это было как заполнение пустого места, причем приготовленного, специально освобожденного, так сказать, места в собственной сущности. Трудно выразить, сформулировать — но так требовалось самим моим существованием.

Фактически я руководствовался чисто рассудочными доводами. Явился вывод и убеждение: я должен поступить так.

Я женился на ней.

Я женился на ней — ну, так обрел ли я желаемое?.. Еще и потому на работе за все хватался: меня никогда не тянуло домой. «Жил работой!..» На работе я был сам собой, и вроде действительно неплохой хирург, и вот это терять действительно жаль: здесь все ясно, просто и по-человечески.

Дома... Забота, внимание... Если б она меня любила!.. все бы могло быть иначе... Но она тоже скрывала — свое. Она любила его. А в чем-то — ты победитель, Брянцев, чтоб ты сгорел, и чтоб я сгорел, и ничего тут не поделаешь. Здесь ты сильнее. Высшая справедливость?..

Но если б она меня любила... Тогда бы, быть может, и я мог бы ее полюбить... Трудная порода — однолюбы... Она — тебя. Я — ее, ту, до всего. Оба, как говорится, сразу выложили все отпущенные нам на жизнь запасы любви.

Я хотел любить ее. Да понимал, ощущал, что стоит за ее безупречным поведением. Мы обрekli себя оба, и каждый тайно от другого, не признавать льда между нами — двойной преграды, а растопить ее можно только с двух сторон. Вот — примерная семейная жизнь. Что не жить? любви ни к кому, друг другу подходим, накрепко повязаны, — и маска делается лицом... если бы! И лицо-то забылось, да не все в душе на заказ переделаешь. Можешь торжествовать из могилы, Брянцев — она тебе верна, она тебя любит, я проиграл... чего еще?

Но как глупо и невероятно вышел конец. Как глупо!.. буквально чудится какая-то непреложность, но ведь ерунда это все, я не мистик, не неврастеник, не верю в рок... глупо... Ты достал меня...

В вашу первую ночь она подарила тебе колечко — серебряное недорогое колечко. Ты показал его мне. Ты носил его в часовом кармашке.

Тем вечером я помнил о нем. Не следовало, чтоб его нашли на тебе — могли запросто докопаться до нее, — я его вытащил. Кинуть в снег? Скоро стает, вдруг найдут, — чепуха!! — но... В уборную? Зима, все замерзло, будет лежать, а если кто приметит... черт его знает... В щель пола сунуть? в комнате не было щелей, ковырять — еще обратят внимание на свежую. И, глупость, психопатия, но — слеп, безумен, любил тогда, — где-то и сохранить хотелось. Так, говорят, и сыплются на мелочах. Не предусмотрел я заранее, значения не придавал — а после уж в мандраже был некотором, естественно, да и домой поживее вернуться требовалось. Отжал

я ножом стальной уголок своего чемодана, забил его туда, и бумажки вслед забил, и некуда было ему деваться, никаких случайностей, а специально — в голову никому не придет.

...Дочку я любил, очень. Она очень похожа на мать... Она ничего не скрывала. Ничего не знала. Она любила меня. И я — единственную ее любил. Кого мне еще было любить. Наверно, любил в ней и ее мать, которую любить не мог... Не любил ли я и тебя в ней, Брянцев?.. Не любил ли и свою жертву? разве не любят жертв... какой-то извращенной, но сильной любовью...

Она вошла в комнату, и я увидел на ее руке это колечко.

Под моим взглядом она невольно отдернула руку. Потом растерянно показала:

«Колечко...»

Я обернулся: глаза жены расширились: ужас истины пустил стремительный росток.

Потемнение опустилось на меня.

Как будто это она — нашла свое колечко, и теперь ее ничего здесь не держит, все было заблуждением, опечаткой, сном, она опять молода и сейчас уйдет, все поправила. Я взглянул на жену, постаревшую, словно прошедшие годы и грехи разом прочитались на ее лице, и понял, что эта моя жизнь — ошибка, я не на той женился, а надо жениться на дочери. И логически подумал, что могу это сделать, так как она мне, во-первых, не дочь, а во-вторых, меня любит. А следом подумал, что раз она нашла колечко, то теперь она уже не выйдет за меня замуж, и я теряю ее навсегда. И значит все, что я делал, было напрасно, и вся жизнь была напрасна... Очевидно, выражение моего лица вызвало у жены крик, и этот крик превратил догадку и озарение в свершившийся факт.

И все сразу, вдруг, стало до жути и абсолютно ясно.

Дочь ничего не понимала. Она стояла — уже вне моей жизни. «Уйди!» — кошунственно закричал я, и она отступила испуганно, она а не жена! повернулась и быстро вышла. Я ждал в отчаянии, что она подойдет вопреки сказанному и обнимет меня, и все будет хорошо, но она всердцах, хлопнув, закрыла дверь, и я увидел в окно, как она вышла из подъезда и прошла по дорожке мимо кустов, и идет к углу, и когда она свернула за угол я понял, что все кончено.

Ощущение... прибегая к сравнениям — будто поезд пошел не по той стрелке, а все осталось там, на развилке. Я люблю дочь?.. иначе чем раньше... не совсем как дочь... уж очень сильно похожа. Из жены же — теперь вынута для меня и та небольшая суть, которая была. Смысла не осталось.

8

— «Хватило мужества... Жив человек в нем...» Походит даже на истину — мог ведь избежать, наверное... Жена догадалась? Э, выкрутился бы: нервы, устал, то-се... мало ли чего наплести можно, разуверить человека в том, чего он и сам не желает: мало ли безумных ложных откровений подчас в мозгу выстреливает.

Нет же — попер в милицию! Совесть заела? душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить? вот уж вряд ли... не тот человек!

Рассудить: чего добился? Жене — за что еще такое страдание, мало ли намучилась в жизни — от него же. Дочь — уж ни в чем не виновата, ради нее хоть прежнее сохранить стоило. Больница, область лишилась хорошего хирурга, еще не одну жизнь спас бы, много добра принес. А вера в людей, наконец? эдак каждого черт-те в чем подозревать начнешь.

Планида такая? по истине своей поступил? так что угодно оправдаешь, удобный взгляд. Избавляться подобной ценой, за счет других, от собственного душевного дискомфорта — тот же супер-эгоизм. Никто так не беспощаден, не причиняет столько зла, как стремящиеся превыше всего к приведению жизни в соответствие с некоей истиной и ставящие эту истину выше конкретного блага конкретных людей. Нет добра в такой честности. Мертвого не ворошить — так искупи хоть посильным добром.

Нет, братец: взвалил — так уж тащи до конца. Ишь ушлый: он о душе задумался, а другие по его милости страдай заново.

Одно ясно: такому — лишь свое желание в закон.

Самолюбие вознеслось, гордыня обуяла — снова презреть судьбу, поступить наперекор? Надоело все, ненужным стало — так уйди тихо, по-человечески, не руша жизни близким, — ну найди способ. Или — считал сделанное своеобразным подвигом, главным в своей жизни — и свербило где-то, чтоб все узнали? ахнули, оценили решимость!.. — типичная горделивость преступника.

И получается, что такое признание — продолжение и повторение преступления; нет оправдания жестокости — по сути бесцельной.

А вероятнее — все проще, по-шкурному: боялся, что жена все равно сообщит — а за явку с повинной смягчат ему, учтут.

9

— Человек любит надеяться, что самое тяжелое — позади... Трудно сказать, что хуже: остаться без настоящего, или остаться без

прошлого. Но мне — мне суждено было потерять прошлое и настоящее разом.

Господи, разве я не хотела, не пыталась полюбить его? Но он такой был... добропорядочный и мелкий, без изюминки и изыяна... весь от и до. Внушала себе чувство — тем вернее не могла действительно чувствовать... Лучше б пил, бил!.. ах, тоже — лишь кажется...

Теперь... я должна ненавидеть — и не чувствую ненависти...

Брянцев, Брянцев... ох... так же далеко, как та, восемнадцатилетняя — я... Теперь я понимаю спокойно, никогда не было уверенности у меня, что он женится. Нет, не мне одной он обещал... не мне одной...

Если он действительно любил меня... Тогда он должен был бы быть рад, что жизнь моя шла счастливо. Счастливо?! Но поглядеть на других... Господи, прости мне мои кошунственные мысли.

Разве он не положил свою жизнь ради меня? Кто из них положил свою жизнь ради меня?.. Все спугалось...

Он сделал это из-за меня! И узнав... это отталкивает, пугает... и притягивает меня в нем.

Он не понял... лучше б сказал, что все знает и женится из жалости!.. я могла бы полюбить... Сказать самой! но дочь так любила его; и он ее... я жалела...

Его слова... отрекался, прощался... не любовь ли подталкивала к решению? Отчаявшийся, опустошенный — не пытался ли в глубине души последним средством, фактически самоубийством, отказываясь от обладания — обрести мою любовь? Если так... Нас связывает большее, чем просто двадцать пять лет, прожитые вместе. Он всей жизнью пророс в меня насквозь, — сейчас, когда его нет, по боли я ощутила это. Я должна проклясть!.. но мужчины поступали так испокон века... кому хватало мужества... Я ищу оправданий — как соучастница...

Можно любить преступника — не ничтожество. Я сопротивлялась признаться себе... Я прожила жизнь с ним, моим любимым. И сейчас, полюбив, — должна потерять. Дочь... Единственное, в чем я уверена, что знаю определенно; она, она есть у меня. Опять; отказаться от любимого — ради дочери... любимой моей дочери, которую я боюсь возненавидеть.

10

— Нет правды выше верности. Чем еще сохранить себя самое среди всеразьедающих сомнений. Кем бы ни оказался человек — был один кров и хлеб. Но тот, кто убил твоего отца... тот, кто сам

был отцом — которого любила, которым гордилась...

Прислушайся к голосу крови: судить мать?.. где право! Но вся его жизнь — следствие любви! вся ее жизнь — следствие предательства! Каждый платит. А я? «за грехи отцов»... Когда любишь — ищешь свою вину. Я бы хотела, чтоб его не существовало вообще! и хочу принять и на себя ту тяжесть, что на нем. Я чувствую себя виноватой — в чем?.. Разве можно разлюбить самых родных людей — что бы ни обнаружилось на их совести: они постигнуты не знанием — нутром; они те же для тебя!

И все-таки... стена, пролегла стена... за этой стеной они... он — преступный... жалость к нему? уважение? боль... он ближе мне чем-то, чем она. Она — единственный родной человек, он — должен стать чужим! но в душе они смещаются с предназначенных разумом мест: он — ближе, она — дальше.

От чего бы ты не отрекался — ты отрекаешься от себя. Но невозможно обрести себя, отрекаясь вторично. Мера верности — поступок, а не время. Он остался верен: она не должна жить с тем, кого знает как убийцу любимого; она не должна остаться с его безнаказанностью. Она! которая стыдилась родить меня без формальностей — от любимого! «незаконнорожденная...» не упомянула мне об отце! Пусть же хоть сейчас сумеет быть верной; она должна ждать его, она должна остаться с ним. Не только ради него — ради себя; иначе что же от нее останется.

Мне трудно жить с ней, даже видеть... Я уеду отсюда... выйду замуж, стану ей помогать... Мы никогда больше не сможем быть троим, это невозможно... Но с ней я не буду — ради него? скорее, может, ради нее же.

11

— Меньше всего руководствовался я снисхождением, «гуманизмом». Будь моя воля — не жить ему. Это как человек. А как судья — что ж, закон. Рассуждая логически, житейски, не следовало ли бы вообще его не наказывать? Исправляться ему — некуда, так сказать. Исходи наш закон из десяти- или двадцатилетнего срока ненаказуемости за давностью — так и случилось бы. Справедливо?

Конечно — повинная... Заяви хоть жена — суд не имел бы ни единой улики; хозяйка та умерла, дом снесен... абсолютно недоказуемо.

«Фактически — всей остальной жизнью своей он искупал совершенное преступление, являя и своим трудом, и своим поведением без преувеличения сказать пример для любого члена общества...»

Именно — здесь заковыка. Так у людей может составиться представление, что нет разницы между преступником и порядочным человеком. Убил — и живи дальше на благо ближних и собственное. Подрывается вера в целесообразность закона?.. гораздо хуже, закон — лишь отражение необходимости жизни; подрывается вера в необходимость быть человеком.

Но — с колечком, а!.. Конечно — он избавился от него на следующий же день. Такие делал один кустарь-ремесленник, старичок и сейчас жив, промышляет помаленьку. И дочь их — просто купила похуже! он его и увидел.

НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

Когда дело подходит к тридцати пяти, усилия — чтоб сохранить форму — начинают напоминать режим олимпийского чемпиона. Но поскольку вам за это не платят — раз вы не актриса и не манекенщица (и вам нужно работать, растить двоих детей и содержать дом в порядке) — стремление оставаться красивой женщиной приобретает ту подлинную глубину, искусственную замену которой спортсмены находят в условностях рекордов. Однако своеобразное бескорыстие вашего желания имеет последствиями результаты, ощутимые чисто конкретно. Вы не ревнуете своего мужа; напротив — он ревнует вас, — в той мере, в какой это необходимо, — если вы не дура. В парикмахерской вам, не исключено, сделают именно такую прическу, какую вы хотите — при условии, что парикмахер мужчина, разумеется. В часы пик мужчины хоть иногда помогают вам сесть в автобус, а начальство (опять же, конечно, мужчины) не слишком вам хамит — другим больше, во всяком случае. Дочки (а старшей ведь уже четырнадцать) обожают вас и стараются подражать, что совсем не плохо в наши времена, когда... где же крышка? ага, вот она; так. Тря-ля-ляля пу-рум...

Н-да, «наши времена», «ваши времена»: стареем, матушка, стареем. Забавно: и не то что не хочется (кому ж хочется), и не то что грустно, — а вот не понять до конца. Осознаешь себя точно так же, как в двадцать пять, и как в восемнадцать, и как в детстве, насколько я в состоянии помнить свое детство: ты — это ты, умная, хорошая, все понимающая, грешная иногда; а окружающий мир — ты понимаешь его, и он таков, каким ты его понимаешь; меняется понимание — меняется окружающий мир, но он все равно тебе понятен, и осознание системы этой — «ты — мир» — в принципе неиз-

менно, и все странное и скверное случится не с тобой, хотя ты стареешь и знаешь прекрасно, что именно с тобой-то все и приключится, порой уверен — и спокоен — приобретаешь мужество? теряешь остроту чувств? привычка, привычка к тому, о чем когда-то думал с ужасом; а вот внутренне до конца не осознаешь. Появляются морщины, болезни — сначала пугаешься и грустишь, потом — что ж, живут же люди, и ничего, ты еще не хуже всех; но иногда прозрит вдруг на короткое мгновение, что — всё! это жизнь проходит! не будет иначе! и мертвящая тоска оледенит, и финишная ленточка ближе, ближе, а цвета-то она, сволочь, черного...

Тьфу, черт...

А пока — пусть глупо — чувствуешь себя девочкой. (Старушка в трамвае как-то обращается к двум подружкам своего возраста: «Выходим, девочки.» Я ощутила, как у меня щеки побледнели.) Ладно, с моей внешностью еще можно; на вид мне от силы тридцать — при ярком солнце, — а в тридцать у нас все «девушки» и «молодые люди»; весьма мило. И не то беда, что тридцатилетних мужиков воспринимают как мальчиков, а то, что они и сами себе часто мальчиками кажутся; анекдот получается: семнадцатилетние считают себя самостоятельными и всё могущими, а тридцатилетние — уже не считают. Но женщин подобное положение вещей, пожалуй, вполне бы устраивало — ан, когда дело доходит до дела, вдруг вспоминают, что «девушка»-то — начинающая стареть женщина, у которой и то уже чуть-чуть не так, и это слегка не эдак.

В семнадцать я полагала, что предел молодости — до двадцати одного. В двадцать один — до двадцати пяти. И так далее. Сейчас я хочу держаться до пятидесяти. Почему нет? Джина Лоллобриджида в микробикини на фотографии, где ей сорок четыре, выглядит... о ч-черт, опять лук подгорел! ф-ф, горячо! так, есть пятно...

«...Прости, что не поздравил тебя с восемнадцатилетием...»

Тр-реклятый шпингалет! Чаду полно. Сюда бы и сунуть Лоллобриджида в ее купальнике. Последишь за собой четыре часа в день, как же. За тобой последят.

Ну конечно, колготки готовы. И ведь хотела снять, так нет. Гадский стол, в который раз из-за него. Все, с полочки достаем новый, а этот — на помойку, дешевле обойдется. Ей-богу выкину.

Приятно позволять себе такие пустяки. Сейчас на наши с Сенькой зарплаты, ну, плюс крошки халтуры, жить можно, чего там. Денег, правда, все равно никогда нет, но это уже закон природы; зато есть то, что за эти деньги можно купить: не то чтобы совсем все, но в пределах ушибленного скромностью разума.

Когда поженились-то мы с Сенькой на третьем курсе — ревела потихоньку из-за рваных капронов. Он принесет — так знала отлично, что на себе экономит, паршивец. Ладно, говорит, должен же я способствовать приличному виду хотя бы одной красивой женщины. О-ля-ля... Красивой, красивой... Была, вроде. Ах, мои сладкие, на одной красоте, это уж само собой, не только далеко не уедешь, но и вообще разобьешься вдребезги, так, что костей не соберешь. Дадут тебе зеленый свет, а там — бац! шлагбаум. Не в красоте счастье, все давно знают, да только выводов не делают из того, что знают, так уж повелось, и примеров кругом — сколько угодно. Но если вы не дура и не сволочь... — хотя преуспевают, естественно, красивые не-дуры сволочи... Хм, таков мир. Впрочем, и я, вроде бы — тьфу-тьфу — преуспеваю. Тоже сволочь? Нет, кажетя.

Да и преуспеяние — тоже... Горбом тянешь, гори оно все! И на работу давка, и с работы — давка, и в очередях — давка, и директор — парази-ит, а не поддакнешь ему — выживет, и готовки эти обедов осточертели, и друзья эти Сенечкины вечно в доме топчутся, а мне убирай, Сенька рубашки и носки

«Не думай, я ни на что не надеюсь. Просто я счастлив, что где-то, очень далеко от меня, есть ты на свете.»

желает менять ежедневно — стирай, и давление мое проклятое, Ирка вечно капризничает, Танька хамит — четырнадцать, милый возраст, а Сенька раскатывает по командировкам, и остается только надеяться, что сей образцовый муж мне не изменяет.

Черта с два женился бы на мне Сенька, не будь я в девятнадцать такой, какой была.

Когда девушка взрослеет и входит во вкус своего положения, ей совершенно необходимо, чтобы мужики кругом складывались в штабеля. Она просто-таки все силы к этому прикладывает. А после начинает выбирать среди тех, кто остался стоять, при этом глядя в другую сторону. Не надо бы хорошим мужикам быть дураками, пусть даже так им на роду написано. Хотя, если уж человек теряет голову, то не все ли равно, много в ней чего было или вообще ничего нет.

Сеньку я отбила у Лерки Станкевич, и очень быстро. Лерочка его доводила сценами ревности, а я всячески ему советовала на ней жениться. Сама я изображала пламенную влюбленность в Муратова, и, когда мы с Сенькой познакомились покороче, сделала его поверенным своих «тайн». Тянуло Сеньку ко мне не больше, чем к любой другой смазливой девчонке; сделав пробный заход и решив, что здесь ему все равно не отколетя, он пустился со мной

в откровенности. Мужчина находит порой наслаждение в откровенности с неглупой приятельницей, к которой его влечет и спать с которой он не надеется; а Сеньке только минуло двадцать.

Дошло, однако, до того, что я готовилась уверовать в дружбу между мужчиной и женщиной, когда б не тихая Сенькина ненависть к Муратову. О третьи лишние! — все счастливо влюбленные по чести должны соорудить вам благодарственный памятник, вроде как собаке Павлова.

Ну, а потом произошло то, что в конце концов должно было произойти, и все встало на свои места.

«Ты снилась мне сегодня. Это было счастье для меня. Я не могу написать все — ты оскорбишься. Но я ведь не виноват. Я никогда не был так счастлив. И знаю, что никогда этого не будет в жизни, отлично знаю. Не сердись. Мне все-таки трудно без тебя.»

На следующий день выглядел он спокойным, и уж конечно слегка небрежным, самодовольным и очень уверенным — пока, встретившись вечером, я не объявила ему, что случившееся — ужасная ошибка, прихоть настроения, и впредь я намерена хранить верность Муратову, коего и люблю.

Люди устроены настолько примитивно — тоскливо подчас становится. Два дня Сенька ходил бледный и садился не в свои автобусы. На третий он превозносил как чудо то, что и следовало превозносить впредь, и больше носа не задирает, смертельно боясь меня потерять.

Год он приставал с просьбами о женитьбе. У мужчин загорится — будто на шиле сидят. Как пить дать не дожидаться б мне Сенькиного предложения, знай он, сколько я мечтала выйти за него замуж. Но через год в этом возникла необходимость, и мы устроили свадьбу. Славный Муратов никак не мог взять в толк, почему его не пригласили, и страшно обиделся.

Дворец бракосочетания — это, конечно, кошмар, но невесте так никогда не кажется; в белом платье и фате я ощущала себя совершенно нереально. Больше всего я боялась, как бы в новых туфлях не поскользнуться на лестнице. И путались ленты, привязанные к букету. Единственный в жизни раз была тогда удлинленно-интеллигентной Сенькина физиономия. От волнения он никак не мог надеть мне на палец обручальное кольцо; пришлось самой. Весьма символично.

И денек стоял — второе июня шестьдесят пятого года. А нынче май восьмидесятого... Шуточка делов. Таким макарон еще пяток лет — и будем мы пить на Танькиной свадьбе.

«Меня не приняли в летное, но нет, я не утратил мечты стать офицером, через месяц с небольшим я еду в Красноярское радиотехническое училище войск ПВО страны. Не знаю, как у меня в дальнейшем сложится судьба, но если я буду офицером (а я им все-таки буду), я буду счастлив от того, что и крупинка моего труда будет вложена в то, что небо над твоей головой всегда будет чистым.»

А там, глядишь, бац! — бабушкой-дедушкой заделаемся. Ну, не в сорок, так в сорок пять. Забавно...

За Танькой, небось, мальчишки бегают. Красивая девочка растет. У меня-то еще в детском саду поклонники завелись. А в шестом классе Беляев трагические письма писал. Димка Носик покупал мороженое — до ангины довел. А на выпускном вечере я танцевала только с Куявским, мы целовались в темном спортзале, руки у него были липкими от вина, и он наставил мне пятен на белое платье.

А с Сенькой все началось на первом курсе, когда мы ездили на пляж в Серебряный Бор. Он единственный успел загореть, и дурачился, развлекал всех, а лицо такое — взглянешь — и на душе светлей. У него и сейчас такое лицо. Разве чуть порезче стало. Но это лучше даже. Мужественней.

Как мы жили с ним студентами! Он говорит, что на отработках — и топает разгружать вагоны. Я ему котлетки жарю и говорю, что уже обедала — сама на картошке сижу. А потом друг другу — сцены на нервах.

Сейчас бы, может, и рада картошку лопать, да талия ползет — диету не придумать. Гимнастика, бассейн... Больше семидесяти двух сантиметров — ни за какие блага. Поедем в августе на юг — и как я там, спрашивается, должна выглядеть? Сеньке опять девки

«Вот только сегодня вечером удалось уединиться в Ленинской комнате. Я только сейчас сменился с дежурства, стоял дневальным, как раз по очереди попал с субботы на воскресенье. Увы, так мало у меня сейчас времени. У меня жизнь и служба идут своим чередом, будни воинские, ничем примечательным не отличаются.»

будут глазки строить. Машину вести мне, конечно, придется. Сенька за рулем? — это верблюды на лыжах. Через пять минут ровного шоссе он начинает самоуглубляться и норовит вмазать в первый встречный

«Вот уже три года я в училище. Не за горами уже самостоятельная служба, офицерские погоны. У меня другие

интересы, занятия, все изменяется. Правильно устроена жизнь, конечно, в некоторой степени. Может вся моя любовь просто призрак, может она построена моими мечтами. Нет, это не так. Я любил, люблю и буду любить тебя. Я всегда и всюду буду благодарен тебе за то, что благодаря тебе я узнал настоящую любовь, которая вечна.»

грузовик. Когда защитит докторскую, ему лучше оборудовать место в багажнике — и он сохранней, и всем спокойнее.

Эдак он к Танькиной свадьбе профессором станет. И как студентам преподает — непонятно. Ирка через десять минут занятий с ученым папой ревет и бежит ко мне: это он объяснял ей задачи для третьего класса. Задачи, признаться, идиотские, но и сама она бестолковка. Ладно, пусть растет гуманитаром. Таньку я, признаться, больше люблю. И кажется, обе это чувствуют; скверно.

Конечно, быть командиром подразделения сразу не просто. Места здесь красивые, лес, сопки. Но зимой очень холодно, недаром нам дают северный паек.

Сколько времени прошло, целая жизнь. А началось все в девятом классе, когда наш класс ездил на картошку. В автобусе я от нечего делать стал разглядывать тебя. Потом стал думать о тебе и дома. Так все и началось... Моя любовь к тебе была все сильнее и сильнее. Эх, жизнь...»

Так, борщ, похоже, готов. Сейчас свистну Таньке — пора на стол накрывать, Сенька вот-вот явится. Похудел он у меня что-то в последнее время.

«Шесть лет, как я не видел тебя. Ты меня, конечно, и не помнишь, я ничего для тебя не могу значить. Я даже не писал тебе, зачем это.

И все равно я любил тебя, и ты любила меня, и я целовал твои губы, я зарывался лицом в твои волосы, я клал голову тебе на колени, я гладил их, гладил твои руки и плечи, ты ничего этого не знала, ты была далеко, ты не думала об этом, это была не ты, но все равно это была ты, все равно!

И это ты засыпала на моей груди, это ты прижималась ко мне и целовала мои глаза, это ты плакала, когда я уезжал, и обнимала меня на вокзалах, и это всегда будешь ты, ты, и никуда, никуда тебе от этого не деться!...

Гроза прошла. Май, и земля зеленая. Радуга.

Под головокружительной ее аркой, среди вытянувшихся топольков, стоит крашенная под серебро пирамидка с красной звездой.

С фотографии, маленькой, несколько выцветшей уже, смотрит легко светловолосый юноша в военной тужурке.

ЛЕЙТЕНАНТ
РУСЛАН СТЕПАНОВИЧ
ПОЛУХИН
1946–1969

Небо яснеет, искры вспыхивают в мокрой траве, в металлических прутьях пирамидки.

ТРАВой ПОРОСЛО

Со своими соседями я не желаю иметь ничего общего. Кроме коммунальной квартиры, общего ничего и нет. Что до контактов — я лучше французским владею, чем они русским. Во всяком случае, со своими туристами я нахожу язык гораздо легче.

И не обменяться — никто не поедет: жильцов много, на кухню лестница, ремонта давно не делали. Да и вряд ли в другом месте лучше будет. И самому жалко: привык, и условия-то хорошие — центр, все удобства, окно у меня на улицу Софьи Перовской, а что пятый этаж (без лифта) — так солнце по утрам, а лифт мне и даром не нужен.

Пожалуйста: вчера вернулся с Байкала с группой, которую две недели назад принял в Киеве. Проводил их на самолет, написал сразу отчет и приволок ноги домой. На моей двери — привет от соседущек: в одиннадцати пунктах перечисляется не сделанная мной пять дней назад уборка и в резюме приводится угроза передать дело в товарищеский суд.

Я летом и дома-то не бываю. Пять дней назад в Алма-Ате мои французы рубали на базаре сахарную вату и лепешки и тарасили глаза от жары. Отличные ребята, преподаватели из Сорбонны. И вот вам отдых: пожалуйста в Воронью слободку.

В семь утра — грохот в дверь (Полине Ивановне диск бы метать, а не болячки лелеять): «К телефону-у!..» — и комментарий для коридора: «Спозараночку девки звонят! когда и кончится...» — и шлеп-шлеп-шлеп: «Устроил притон из квартиры...»

Знакомые полагают, что раз ты живешь в центре и один — то сейчас они принесут тебе радость на дом. И несут, — только успе-

вай стаканы мыть. Иностранцы, кстати, завидуют: как это у вас за просто, человечно. А по-моему, человечней приходится с приглашения хозяина. Так что их стиль общения представляется мне правильной.

Вылезаю я, пугаясь в джинсах, в коридор, беру трубку, глаза — как песку насыпали.

— Владик, — интересуется женский голос, — как вы себя чувствуете?

Отлично, отвечаю, себя чувствую. Особенно сон отличный. Так что благодарю, пошел досыпать. Разговорчики в семь утра.

Пауза.

— Это Орех говорит. — (Тьфу, черт! В ее манере... Генеральный диспетчер.) — Я вас не разбудила? — (Что вы, что вы! Уже зарядку сделал...)

Надо принять индивидуалов. Супружеская чета из Франции. У них сегодня поездка за город, излагает далее Генеральша.

Ясно. Отдых. Съездили на пляж. Да-да, конечно, лето, переводчиков не хватает, ага. Ведь можно было бы утрясти все вчера, нет же! — а ты отдувайся; вечная история.

Они в «Европе». И то ладно — рядом. К восьми пятидесяти. Хорошо, Тамара Леонидовна.

Я и переводчиком-то быть никогда не собирался. Иногда мне кажется, что все люди — специалисты поневоле. Кроме отдельных личностей, с пеленок чувствующих призвание. Такие уже в детский сад ходят полные оптимизма, что для того и рождены. Все же нормальные дети, по-моему, только и думают, как бы увильнуть от детского сада, потом от школы, потом от лекций и колхоза. Но поскольку природа, как известно, не терпит пустоты, то увиливаешь от одного — попадаешь в другое. Я увильнул от математики с физикой — и поступил на филфак. Увильнул от преподавания в школе — и пошел в «Интурист». Но закон втягивания срабатывает четко: стремишься делать дело рационально, находишь в нем положительные стороны — и оказываешься на хорошем счету.

Вышел я злой. Но в ярком утре еще не вся исчезла прохлада; квартирные проблемы пока снимались; с индивидуалами работать приятнее; все улеглось. Мне нравится работать с индивидуалами. Короткие отношения — в меру. В отношениях между людьми всегда необходима оптимальная дистанция. «Они» эту дистанцию чувствуют и держат прекрасно. Взаимное уважение людей, не лезущих в жизнь друг друга. Какой-нибудь босс общается с тобой как с равным, в то время как у нас любая старуха-соседка стремится продемонстрировать, что она значительнее тебя.

В холле было много наших — время завтрака и разъезда. И хотя профессиональный стиль — «не отличаться», — определялись безошибочно: в тех же джинсах и майках, с длинными прическами, американскими сигаретами, парижским и верхненемецким произношением, — отличались!..

Супруги Жанжер выглядели молодцом. Симпатия лет под шестьдесят — стало быть за семьдесят. (Известная черта: у иностранцев нет стариков, в нашем понимании. Есть пожилые люди, следящие за собой. Когда прошловекового выпуска мэм сверх здравого смысла молодится — неприятно; но симпатично нежелание капитулировать перед временем.)

Уселись в интуристовскую черную «Волгу». Пушкин, Петродворец, Ломоносов?.. привычное дело: бензин наш — идеи ваши. Я обернулся:

— Куда мадам и мсье желают поехать?

Они переглянулись.

— Скажите пожалуйста, мсье Владлен, — спросил Жанжер, — лучшие цветы в Ленинграде по-прежнему продаются на Кузнечном рынке?

Я несколько удивился.

— Спекулянты, — радостным голосом сказал водитель. — Грузинские агенты.

— Вы хорошо осведомлены, — констатировал я с невольной улыбкой. — Трудно сказать, лучшие ли, но самые дорогие — да, пожалуй.

Мы поехали по Невскому.

— У вас стало больше машин на улицах, — привел любезность Жанжер..

— Он сказал, что у нас люди стали лучше одеваться или машин на улицах стало больше? — поинтересовался водитель.

— Машин больше, — подтвердил я.

— И не вижу в этом причин для энтузиазма, — выразил свое мнение водитель. — А вообще у них огромный запас тем для разговора.

Наш запас не больше; я промолчал, не поощрил подступа к столь же оригинальным замечаниям об этих, с фотоаппаратами, матрешками, и о широкой русской душе. В любом общении своя степень условности, необходимая для дистанции комфорта.

Супруги поглядывали по сторонам, не задавая вопросов.

— Вы уже бывали в Ленинграде?

— Последний раз мы были здесь семь лет назад, — сказал Жанжер.

— Семь лет, — откликнулась мадам.

— Вот и цветики, — объявил водитель, пристраиваясь в заполненном переулке, выключил зажигание и сам выключился, — профессиональное.

На Кузнечный рынок не стыдно везти кого угодно. Там видно, что все у нас растет, и созревает, и продается, — без очередей и на выбор. Что я и не преминул в шутливой форме заметить Жанжерам; они готовно согласились; мы прошли вдоль цветочного ряда: отсветы благоухающего спектра облагораживали ражие рожи стяжателей. Возбуждаясь, они заводили глаза, цокали, надвигаясь профилями горцев, и воинственно потрясали букетами, демонстрируя непревзойденное их качество. В этой разнопахучей и гулкой толчее мы пополнились снопом белых гладиолусов, алых гвоздик и лимонных роз, и обошлось это удовольствие супругам Жанжер в восемьдесят шесть рублей, или пятьсот тридцать восемь франков по обменному курсу. Я не удержался, подсчитал. Хотел бы я знать, куда им такая прорва цветов?

— Пожалуйста, дарагой, — щедро осиял зубами расплатившегося Жанжера небритый абрек. — Замечательные цветы, на здоровье. На свадьбу столько, да?

— Он сказал, что его цветы — лучшие, пожелал вам здоровья и высказал предположение, что вы покупаете их для свадьбы, — счел уместным перевести я.

Они опять переглянулись без улыбки; я усомнился в уместности своего перевода.

— Они желают бросать их под ноги восхищенному населению, или везти в Париж и там продать, но уже дороже? — осведомился водитель, когда мы погрузились. — Сумасшедшие миллионеры... Куда?

— Куда мы сейчас поедем? — спросил я, сам интересуясь.

Жанжер достал карту. Там было обведено.

— Сте-па-шкино.

Водитель также ознакомился с картой и сложил губы, чтобы присвистнуть.

— Степашкино-какашкино, — сказал он. — Вот счастье привалило — трюхать по пылище в такую жару. Что там такое?

Я знал не больше его. Молчание с ясностью снимало расспросы. Имеют право — за все уплочено: Степашкино так Степашкино.

— Гастролеры... — пробурчал водитель и раздраженно воткнул скорость.

А я пришел в хорошее настроение. Мне нравилась их нестандартность. Никаких фонтанов, никаких фотоаппаратов: покупаем цветов на сто рублей и едем в Степашкино. Нормально.

С детства считаю, что мужчина не должен задавать вопросов. Надо, захотят, — сами скажут. Твой такт — твое достоинство.

Сидеть было удобно. Курил я, испросив согласия мадам, «Жиган», крепкие и с горчинкой. Жанжер сказал, что в молодости курил тоже «Жиган». Он угостил нас с водителем резинкой. Проехали «Союзпушнину». Я сказал, что студентом подрабатывал на аукционах. Они поинтересовались ценами: о, во Франции меха дороже. Проехали памятник Ленинградской эпопее, я сказал о нем, они смотрели молча. Выехали на Гатчинское шоссе, водитель придавил газ на сто пятнадцать, окно зашторилось шелестом ветерка.

Солнце лезло вверх. Делалось все жарче. Дорога начала тяготить.

— Началось, — процедил водитель. Свернули на грунтовку. Место шло голое. На колдобинах покачивало. За пыльным шлейфом обогнали грузовик, там женщины повернули выгоревшие козыньки, в этот момент было приятно сидеть на своем месте, выставив локоть в окно черной «Волги» с интуристовскими крылышками на лобовом стекле.

Мадам тихо спросила, далеко ли еще. Я ответил, что минут тридцать. Водитель стряхивал капли со лба. Я пожалел Жанжеров. Его кремовый костюм местами темнел. Ее, похоже, слегка укачало; бледная под гримом, она обмахивалась промокшим платком.

— Мадам нехорошо? Мы сделаем остановку?

Слева осталась рощица. Нет, они не хотели останавливаться. В тени бы, на травке... Торопятся они куда...

Машина раскалилась. В автомобильной духоте цветы дурманили. Позже выяснилось, что это был самый жаркий день даже этого, необычайно жаркого лета.

Степашкино оказалось — два десятка неказистых домиков у озера, заросшего осокой. Белье мертвело в пустых дворах: безмолвие и зной.

Жанжер зашевелился, посмотрел:

— Вот туда, пожалуйста.

Остановились за селом. Берег поднимался отлого, наверху тополь — старый, приметный.

Я помог им выбраться с их цветами. Они очень заботились о цветах. Пиджак у Жанжера со спины был мокрый, зад брюк тоже. Жена постояла, держась за его локоть, и достала зеркальце.

Водитель сел на траву у обочины.

— И тени-то нет!.. — Он стащил чехол с сиденья и швырнул на самый припек, улегся, шумно вздохнул.

Я размял ноги. Супруги тихо совещались. Я отошел, чтобы не мешать.

— Мсье Владлен, — позвала наконец жена. — Вы бы не согласились нам помочь?

Почему нет? За это нам и платят.

— Проводите нас, пожалуйста.

Мы медленно поднимались втроем. Я предложил понести цветы; они вежливо поблагодарили и несли сами. Хотел бы я знать, в чем заключалась моя помощь?

Дошли до тополя. Жена взглянула на мужа.

— Спасибо, мсье Владлен, — произнес он. — Дальше мы пойдем сами.

Отойдя, Жанжер передал ей все цветы, вытащил из бумажника листок и фотографию и стал сличать что-то, глядя на дерево и по сторонам. Потом сделал еще десяток шагов и остановился, и она подошла к нему с цветами.

И вот представьте себе картину: зной оглушающий, ни души, за желтым полем на пустоши коровы пасутся и слышно, как ботала их брякают, трава редкая, выжженная, — и на эту вот землю женщина опускает цветы, сама опускается, и по спине ее видно, что она плачет. А мужчина стоит рядом, склонившись, и вытирает глаза и все лицо платком.

Я отвернулся и пошел вниз к машине.

Иногда находит ужасное детство; но только я закурил у Саши (водителя) «Опал» вместо своих «Житан».

...Проехал тот грузовик, и по сидящим в нем я понял, что французы возвращаются, и понял, зачем надо было их проводить...

Неловкость вынужденного знания исказила атмосферу, словно в воздухе между нами проступили невидимые ранее связи. Жанжер негромко попросил остановить где-нибудь напиться: мадам плохо.

Притормозили у колодца. Я откинул крышку: из глубины пахнуло. Ворот раскрутился, ведро гулко плюхнуло, цепь напряглась; в обратном движении ворот мерно поскрипывал; появилось ощущение чего-то рекламно-ненастоящего: деревенский пейзаж, черная «Волга» и иностранцы, пьющие воду у колодца.

Старуха следила из калитки. Я подошел и поздоровался.

— Что раньше было — над берегом, где тополь?

— Да и ничего не было...

— В войну, не знаете?

— Своих хоронили немцы, — открыла она мне уже известное.

Жанжеры ждали. Старуха присела на скамейку у забора. И я сел, с чувством «назло всему».

— Вот — привез дьяволов, — сказал я и устыдился: будто желею отмежеваться от них и подольститься к старухе.

Она не отозвалась, пожевала.

— Что ж, своего, значит, проведать... — Ее морщины были спокойны... — Не осталось могилки-то.

Я пошел на свое место.

Ехали молча. Мадам всхлипывала изредка. Машина превратилась из духовки в пыточную камеру. Я единственно мечтал, как приму в прохладном полусумраке квартиры холодный душ. Каково приходилось им... я бы пожалел их, наверное, если б не было так жарко.

Попросили: Саша остановил у куста. Жанжер бережно устроил жену в тень. Мы сели рядом: другой тени не было тут. Я собирался с духом, чтобы уйти курить на солнце.

Надолго запомнится им эта поездочка. По их возрасту — последняя, может статься.

— Мы из Эльзаса, мсье Владлен, — глуховато выговорил Жанжер... — В Эльзасе немцы забирали всех молодых. «Солдаты поневоле» их называли. Он был наш единственный сын, Патрик. Он был сапер, — добавил он, неловко повисло полуоправдание, зачем?

Добрались легче. Мы отдохнули. Мадам успокоилась.

Расстались у гостиницы. До завтра я Жанжерам не требовался: они улетали утром. Вернувшись к себе, я упал и заснул.

Проснулся в сумерки. Долго лежал в том особенном блуждании неясных мыслей, когда просыпаешься неурочно, не сразу вспоминая, какое сейчас время суток и что было перед этим. Цветы, наверно, уже завяли. Н а ш и цветы. Или их растащили деревенские пацаны. В своем номере о н и сейчас как? Погиб ли кто в войну у старухи? С кем теперь буду работать? Провожу их завтра за вертушку в аэропорту: мы посмотрим друг на друга, и Жанжер поймет, что подарки переводчику здесь неуместны. Или, предвидя, передаст для меня диспетчеру; ей и останутся тогда. Ерунда какая...

Голубь прочеркнул окно. Я встал и умылся.

Миновав соседей, спустился на улицу. Небо выставяло свою ювелирную витрину. Фонари тянулись парами. На лицах проходящих девчонок ясно читались будущие морщины, — такое уж было настроение. Я соображал, куда б мне пойти. Быть одному не хотелось, но ни с кем, кого я знал, мне тоже сейчас не хотелось быть. У меня часто так бывает.

ВСЕ УЛАДИТСЯ

ВСЕ УЛАДИТСЯ

Понедельник — день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того чище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижиков успел поскандалить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук вывалилось.

Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов — о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов — о подстраховке директоров и с автобазой — о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась как-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» — трубка эта чертова телефонная аж плавилась у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный и потный весь, — что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились — а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

— Я вас выгоню в шею! В три шеи!! — потеряв остатки терпения, орал директор. — Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? — Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.

— Вот-вот, — устало сказал директор и опустил в кресло. — Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

— Петр Алексеевич... — умоляюще пробормотал Чижиков.

— Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия — а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

— Во второй, — прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

— А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижиков взмок.

— Я думал, это посторонние, — скорбно сказал он.

— Кеша, — непреклонно сказал директор, — знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

— А кто обругал Пальцева? — упал тяжкий довод. — Это же надо допереть — пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

— Ох!..

— Не мед характер у старика, — согласился директор. — Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним — матом. Он — жалобу, мне — замечание сверху!..

— Я ведь извинялся, — взмолился Чижиков.

— А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

— Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, — безнадежно сник Чижиков. — Глафира Семеновна распорядилась убрать лишнее, показала на угол — а я не разобрался.

— Вот тебе две недели, — приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. — Оглядишься, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

— Петр Алексеевич, — Чижигов прижал руки к галстуку, — Петр Алексеевич, я больше не буду.

— Кеша, — ласково поинтересовался директор, — у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шеи?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

— Голубчик, — сказал директор. — Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижигов махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижигов медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц — гусей, наверное, — или лебедей? — тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту,

стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

— Сколько можно говорить, что музей закрыт!

— Что?!

— Закрыт музей! — закричала смотрительница и замахала руками. — Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижиков подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижикова промокли. Завернул в гастроном — продукты обычно он покупал — но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавляя гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чадающую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, устала на Чижикова круглые злые глаза болонки.

— Пьяный явился, — нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

— Ну что вы. — Чижиков заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.

— Нарезался, милоч! — наращивала Нина Александровна. — Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверь, а днем пьет!

— Молчать!! — белогвардейски гаркнул Чижиков, меняя цвета лица, как светофор.

Глюкнула Нина Александровна, забилась в угол, тряся крашенными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижиков к своей комнате по узкому коридору.

— Ах ты паразит! — взбеленилась Нина Александровна вслед. — Я к участковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюда, пьяная морда!

— Расстреляю! — Чижиков запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была — Чижова, и Чижикова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижиков подошел к сыну, погладил по голове.

— Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс — велосипед куплю, как обещал.

— «Орленок»?

— «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижикову.

— Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

— Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет — и переедем.

— Через год?

— Примерно.

— Это же так долго — год!

— Ты и не заметишь, как пройдет. — Чижиков похлопал сына по плечу. — Весна, лето, осень — и все.

— Па-ап, а мы поедем летом на юг? Только Шпаков ездил, говорит — так здорово.

— Поедем, — решил Чижиков. — Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Ага.

— Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

— Так, — сказала жена. — Телевизор смотрят, а посуда грязная на столе стоит.

— Ну, Эля, — примирительно забурчал Чижиков. — Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

— Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли?

Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

— Через месяц кооперативный дом сдают, — мстительно сообщила Элеонора. — Хомяковы переезжают.

— Что ж поделать, если у нас нет денег на кооператив? — рассудительно сказал Чижиков. — Скоро получим по городской очереди.

— Твое скоро... — тяжело сказала она. — Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи

привез за лето — строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

— Ну, Элочка, — пытался Чижиков свести все вмировую. — Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

— Дурак, — с ненавистью процедила она.

— Наверное, — вздохнул Чижиков и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижиков безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в щербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студень быстрый ручей, клики гусей в вышине... Наваждение — аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлюю и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижиков попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижиков пристоял его поаккуртней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях — и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны — и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малоприличную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посоображал кое-что. И довольный отправился спать.

Улеся он шумно, не заботясь, что визжала и дренькала хлипкая раскладушка.

На работу Чижиков с утра не пошел — все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, оли-

фой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

— А-а!.. — встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижиков, пожимая ее.

— Добрый день, — дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

— Здорово, Кешка, старик, — душевно сказал художник и заулыбался. — Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

— Я тоже, — сказал Чижиков, — я здорово рад, Володя, — и еще с чувством потряс руку.

— Значит, за встречу, — художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обер стаканы длинным пальцем. Со своей седой прядкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

— Со свиданием, — пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, шелкнул диковинной зажигалкой:

— Как живешь-то, рассказывай.

— Нормально, — сказал Чижиков. — Квартиру скоро должен получить.

— Это хорошо, — одобрил художник. — А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... — Он закрутил головой, завздыхал.

— Женат? — осведомился.

— Женат... Уж десять лет.

— Ну-у? — восхитился художник. — Молодец! И дети есть?

— Сын, — сказал Чижиков. — Во второй класс ходит.

— Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, — хохотнул.

Чижиков заерзал.

— Так что у тебя за дело-то, выкладывай, — разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

— Гляди, — прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

— А? — торжествующе спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

— Нет, — сказал художник, — так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

— Экая дрянь! — сплюнул, поморщившись. — Синий какой-то внутри, — швырнул пакостный плод в угол. — Так и отравиться можно.

— Тебя ничего не удивляет? — опешил Чижиков.

— О чем ты? А-а... — Художник снисходительно усмехнулся. — У нас, брат, в изобразительном искусстве, — покровительственно объяснил он, — такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, — спохватился он, — я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

— Ты наведывайся почаще, — пригласил художник, — я тебе такого порасскажу!..

Вот так — так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней..

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партой сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах, очками обзавелся, времени не хватало ему все-гда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста — каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, — он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатушку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

— Что, — хмыкнул Гришка, — не похоже на лабораторию физика в кино?

— Да вообще-то я иначе себе все представлял, — сознался Чижиков.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

— Ничего, — мечтательно потянулся Гришка, — осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности — классический физик, точно из кино.

— Давай свое дело. Будем разбираться. — Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

— Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, — произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Брильянтовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

— Смотри внимательно, — попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

— За-ба-вно, — изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. — За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

— Просто, — сказал Чижиков. — Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

— И давно? — спросил Гришка с интересом.

— Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

— Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, — забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижиков все равно ни хрена не понял.

— Слушай, Кеш, — Гришка, косясь на часы, потерял Чижикова за рукав. — Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи — от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

— Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижиков провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно расположилась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижиков пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрузил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону заставить не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижиков... Подумал и решился.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправляющийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене сказал — в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижиков с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай — благо тепло было — и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

— Вы по какому делу? — спросил тот, что постарше.

— По личному, — быстро ответил Чижиков. Уж Ильфа и Петрова он читал.

— Туда, — пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади — всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижиков оробел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засеменила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижиков нашел уже переодетого.

— Я вас слушаю, — бегло сказал настоятель, не предлагая Чижикову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижикова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

— Здравствуйте, Сергей Анатольевич. — Чижииков не знал, как себя вести.

— Здравствуйте. — Он явно не тянулся к разговору.

— Я Чижииков, — сказал Чижииков.

— М-да?

— Мы учились вместе...

— Э?..

— В одном классе, в школе, Кеша Чижииков, Чижиик, помните?

— Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, — не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижииков разволновался и обнаглел.

— У меня очень важное до вас дело. — Он значительно сощурился. — Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

— Вы настаиваете, — недовольно отметил настоятель. — Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижииков побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки — пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зальце — гостиной, видимо.

— К вашим услугам...

Чижииков повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

— И что же? — спросил он наконец.

— Как? — растерялся Чижииков.

— Вы фокусник?

— Это не фокус, — выразительно сказал Чижииков. Ожидая вопроса, крутил бахрому скатерти. Настоятель неодобрительно посапывал.

— Хотите чаю? — предложил он.

— По-моему, это чудо, — застенчиво объяснил Чижииков.

— Э?.. — удивился настоятель.

— Ну ведь... Бог творит чудеса!.. — выдал Чижииков напролом и покраснел.

— Не надо, — осадил настоятель. — Не надо.

— И не в чудесах, — с неожиданной тоской добавил он, — совсем не в чудесах заключается вера. Хотите чаю?

— Да не хочу я чаю! — обозленный Чижииков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив: старик с изукрашенным распятием.

— «А теперь делить буду я!» — процитировал Чижиков и отобрал у доброго святого недоразрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

— Нельзя ли восстановить порядок? — отчужденно попросил он. Чижиков плюнул с досады.

— Жертвую на храм, — отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка над крышей, казалось, втягивал, припуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница уставилась из угла. Эге, засомневался Чижиков, увидит еще кто, скандала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут — вот тогда и лезть.

Легко сказать — спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрмортик с ширмочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом клюет, народу нет — подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшний вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить. Чижиков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом необычно ласковым и всепрощающим, что ее как-то смущало. Перед сном, тем не менее, поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюрморт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любуясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колышутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! — полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижи-ков постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вдохнул с легким счастливым волнением — и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижииков вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушителен. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову — влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И — предчувствие резануло.

«Не то! — ошибка! — сменили!» — ослепительно залихорадило.

Оскользясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ыр-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

— Чего лег?! — рвась на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

— Оружие где, сука?!.. — давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижииков хватанул воздух.

— Из пополнения, што ль?

— Да, — не сам сказал Чижииков.

— Винтовку возьми! — ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. — Вишь — убило! И подсумок!

Чижииков на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

— Встань! В мать! Телихенция... Впер-ред!

Чижииков неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично зататакало, фигурки втерлись в пашню.

— Ах твою в бога!.. — рядом, упав, проскреб щетину. — Конница в балке у них...

Чижигов увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

— Фланг, фланг загинай!.. — отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижигова, они побежали и еще за ними. Слева перебежали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, заворачивая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

— Стреляй, твою! — оскалась, сосед вбил затвор.

Как он, Чижигов внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход — где — запомнить — не найду — как же...» — прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок заносил задние ноги, казак привставал на стремянах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубаше...

Всхлипывая горлом, напряженно тараша заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит 1-й соавтор. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. 2-й соавтор расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор (*обреченно*). Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас — конь не валялся...

2-й соавтор (*деловито*). Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универмагом, и мимо подъезда всегда снуют толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот — человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1 - й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2 - й (*листает телефонную книгу, морщит лоб, швыряет на диван*). Что-нибудь двусложное. Тарара-бух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» — это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1 - й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2 - й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1 - й. Тримушки-Дринк. Джонни уыпьем уодки.

2 - й. Тримушки-Трай...

1 - й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2 - й. И черт с ним.

1 - й. И черт с ним. Нарекли. Пущай Тримушки-Трай.

2 - й. Портрет.

1 - й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2 - й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1 - й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2 - й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1 - й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит — не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2 - й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо стговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1 - й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей — я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса — уступи мне литературу, это справедливо.

2 - й (*делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается*). Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале. Единственный источник раздражения — толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это — ясно, что жизнь у него тип-топ.

1 - й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но — он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но — он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл. Начальство его ценит, коллеги уважают, ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2 - й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими — сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1 - й. Детали!

2 - й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1 - й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелененько во дворе и прочее подобающее.

2 - й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплыванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовная хроника...

1 - й. Мусорщиков нет — машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2 - й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1 - й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2 - й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы

за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1 - й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы ужесточались, гангстеризм процветал...

2 - й. И странно, что они вообще не вымерли...

1 - й. В общем, да. Отвали.

2 - й. Вперед. *(Выходит в туалет.)*

1 - й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2 - й *(входя и заглядывая через его плечо)*. Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу — тем более что конкурсы уменьшились, очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1 - й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2 - й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством — это важнее. За прошедшие десять лет в стране наладилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны — изобилие. Интеллектуалы довольны — есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны — есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1 - й. Хотя последнее — вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену ихним газетам.

Но — все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел — нет, открыт, правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем,

Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок — а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2 - й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримушки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

— Так, наверно, в моем досье все указано, — простодушно сказал Тримушки-Трай и порозовел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

— Вы не волнуйтесь, — успокоил он. — Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

— Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

— Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями — по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

— Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1 - й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проникательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны щекотала его.

— Тебе хотят предложить работу, — заключила она.

— Мне? Они? Какую же? — чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

— Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолюбивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смириться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению — если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю везло и здесь — жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

— И ты примешь предложение, — констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовратиться.

Но — он знал свою жену хорошо. И — любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше — жены или Департамента лояльности.

2 - й. Он позвонил и назвал. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовской шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко — бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил — теперь уже пропуск — и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером — 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

— Прошу вас, — сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

— Садитесь, — чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1 - й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал — потрепался на житейские темы, пытаясь незаметно перевести разговор в то русло, что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2 - й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1 - й. И в нашей повести тоже.

Курыт в молчании. Ч и н о в н и к продолжает листать досье.

2 - й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми мож-

но держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом — предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет — это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1 - й. По-твоему, идет?..

2 - й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1 - й. Веселенький разговор ему предстоит.

2 - й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1 - й. Что-оо?

2 - й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1 - й (*восхищенно*). Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я шас опохмелюсь — и тебя не будет!

2 - й (*свистящим шепотом*). Заткнись, кретин, идиот!.. (*Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.*) Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы — писатели... (*Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.*)

Чиновник (*с понимающим лицом*). Писатели. Журналисты?

2 - й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1 - й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!..», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник (*вздыхая, Тримушки-Граю*). И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? (*Достает из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Граю, закуривает сам. Доверительно.*) А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Граю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и разбавляет из сифона.

Ну-с, почувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, — родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но (*кивок на стол, где осталась папка*) кое-что, и даже немало, мне о вас известно, — вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да — и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Лстыть мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов — и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике — литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей — в подлинном смысле этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно — пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» — я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю — не государству, заметьте, государство — аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, — такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство — оставим высокие слова нашим ораторам, — служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. (*Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету.*)

Дорогой мой, единственная задача государства — чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации — отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого? У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господа, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Т р и м у ш к и - Т р а й (*нерешительно*). Допустим...

Ч и н о в н и к. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически становятся в ряды

безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис — три. Четыре — недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта — продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимость все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, всех частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия — в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Ч и н о в н и к. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мириады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств — люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы — это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ — это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики — мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Т р и м у ш к и - Т р а й. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Ч и н о в н и к (*ласково и устало, словно ребенку*). Ну, сможем занять всех. Что имеем — поделим на всех. А чего не имеем — откуда возьмем? А нехватку во всем — ее тоже на всех поделим? Экономика-то тью-тью у нас... И подъема ее так не достичь никогда — наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Т р и м у ш к и - Т р а й (*отрекаясь от своих проектов*). Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Ч и н о в н и к. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да — государство сделало. Мы сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу завтра с инфарктом — через час заменят, но я говорю — мы. И — мы с вами, лично с вами — вместе.

Кстати — вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Д-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки - Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. *(Понижая голос.)* И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки - Трай *(понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна)*. Я думаю так же.

Чиновник *(прикасясь к его руке, сердечно)*. Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки - Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки - Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки - Трай. Я должен буду уйти из школы?

Чиновник. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, — открываю карты сразу, — мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад — двадцать пять двести в год; четверть президентского и вдвое выше среднего. Дело — психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю — крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, — требуются.

Тримушки - Трай. Когда ответ?

Чиновник. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. *(Снова наполняет бокалы.)* Вы ведь согласны, что долг каждого — максимально

использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Безусловно.

Ч и н о в н и к. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Т р и м у ш к и - Т р а й (с непониманием). Изолировать?..

Ч и н о в н и к. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Он должен трудиться. Принудительно.

Ч и н о в н и к. Обречь на рабство?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Воспитание личности созидательным трудом...

Ч и н о в н и к. Ага. Закатать лет на сорок каторги — и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Ч и н о в н и к. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека — не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь — оставить свой созидательный след на земле?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Разумеется...

Ч и н о в н и к. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Так.

Ч и н о в н и к. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонок потенциально способен построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад, или проложить дорогу через пустыню, — то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Ну. Так. Конечно.

Ч и н о в н и к. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Нет.

Ч и н о в н и к. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, — филолог — о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока — сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственно-го материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, не заколдовать, а расколдовать. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не соответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Т р и м у ш к и - Т р а й (*поддаваясь его тону*). Да, да... если бы это было возможно...

Ч и н о в н и к. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Т р и м у ш к и - Т р а й. Да, да...

Ч и н о в н и к. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Т р и м у ш к и - Т р а й (*с недоумением, еще исключаящим догадку; как проснувшийся человек*). Что?

Ч и н о в н и к. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Т-так...

Ч и н о в н и к. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к тому, что (*резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко*) население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Т р и м у ш к и - Т р а й (*как бы в гипнотическом внушении машинально кивает*). Д-да... (*С выражением появляющегося ужаса*.) И... что же?..

Ч и н о в н и к. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!..» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Три мушки - Трай. Я слушаю вас...

Чиновник (*наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя*). Выпейте! Да! Мы — мы! — взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! (*Нервно, с болью.*) Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подошли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... (*Закуривает. Доведительно.*) Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятка избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Три мушки - Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а — лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет — даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение — все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать — воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий — гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Три мушки - Трай. Фашизм!..

Чиновник. Не низводите себя до обывателя. Эта мания — наклеить ярлык и успокоиться...

Три мушки - Трай. Кто осмелится присвоить право!..

Чиновник (*саркастически, быстро*). Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Люди, их судьбы...

Ч и н о в н и к (*поспешно перебивает*). Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое — люди? Правомерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек — это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания — не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. В с е г д а. Мы лишь возвращаем ему его исконную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Справедливость.

Ч и н о в н и к. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, коими наслаждаются сытые?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Это его — высшая! — форма существования.

Ч и н о в н и к. А мы даем такую — высшую! — форму существования — каждому! Почему вы хотите лишить их удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Т р и м у ш к и - Т р а й. Гений избирает сам!

Ч и н о в н и к. А мы помогаем слабому! Он служит людям — на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Я отказываюсь.

Ч и н о в н и к. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежной надстройкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, — определять, кто чего стоит.

Кроме того — подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности — тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Ч и н о в н и к (*с презрительно-насмешливыми нотками*). А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, в ы б о р к а по

кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! Вам было плевать на всех! Вы общались с семьей и коллегами по школе — это один слой, нужный, мы здесь не трогали, — прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изощренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумейте сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Ч и н о в н и к (*перебивает*). Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллектуалами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Т р и м у ш к и - Т р а й. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Ч и н о в н и к (*вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морщинах*). Вы меня утомили.

Т р и м у ш к и - Т р а й (*тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок*). Боюсь, что мы не договоримся.

Ч и н о в н и к. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность соображать. Принимает вид совершенно отрешенный.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Нет.

Ч и н о в н и к (*извиняющимся тоном*). Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпа-

тию — при всем моем сожалении о вашей непонятливости, — но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Т р и м у ш к и - Т р а й. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Ч и н о в н и к. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет — не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие — на нас, с позволения выразиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор — убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее — мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вовсе, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. (*Дружески подмигивая.*) Помогите вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но — стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима ратио.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал — води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснять, что унитазаов получится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью — это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да — нет, времени не даю. Все! Нет?

Т р и м у ш к и - Т р а й. Да.

Ч и н о в н и к. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте — коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура — это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний — голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела — это же закон при-

роды. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, — естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба — утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник (*тихо и даже с некоторой грустью*). Запрос отменить. Акт по форме два-девятнадцать. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. (*Щелкнув, отключается.*)

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок — это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона — рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийти вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков приключений. А время — хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? — или вы не придерживаетесь этого тезиса? — то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Т р и м у ш к и - Т р а й (*забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернув-*

шись, спрашивает с мстительным интересом). Послушайте, коллеги, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник (с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая). То есть?

Тримушки - Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазы и хрустальные здания? А это — так... гипноз... наше субъективное представление.

Чиновник (раздраженно). В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки - Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

КОШЕЛЕК

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения — он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и забавно. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, — но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невинно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, — известность, правда, некоторая смущала, — но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлось бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот — раздается голос Зелинской») даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невельской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда.

Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась.

В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы «Скороход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, — с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день получки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату — пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил глаза — на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... — момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то — давка), однако собрался с духом уже, — да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком — в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнущим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал — обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, — из-за пустяков...

— Верочка, — сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, — сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

— Мамочка! бежит! — запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, — возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, шелкнула по макуш-

ке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чисто-сердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала:

— Бир сом!

— А? — встревожился Павел Арсентьевич.

— Бир манат, — сказала Верочка. — Укс рубля. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой — контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же — нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

— Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла...

Павел Арсентьевич не понял.

— Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

— Двадцать рублей, — растерялась Верочка. — По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

— Дед-Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загремел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, — праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины.

Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате.

— Ну-ка... тряхни нашу самобранку! — пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенного шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз-два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

— Товарищи, — храбро спросил Павел Арсентьевич в лаборатории, — кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ущипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании, — за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный

текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро.

Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

— Верочка, — фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, — ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич немело попытался увильнуть. («С таким лицом отказать в просьбе — значит обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать ре.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным...

Плюс двадцать ре.

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостатке, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

— Что — это? — твердо спросил он.

Верочка засвидетельствовала:

— Это деньги.

— Откуда? — надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

— Из кошелька, — и нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо — на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему — сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит — тот и владеет.

На Литейном, в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала»), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул.

Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел.

Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди развала Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей.

Вдвое против вчерашнего.

— Паша, — сказала Верочка и оробела, — может, так надо?..

— Кому? — резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: — Мне — нет. — Подумал и добавил: — Тебе — тоже нет.

Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздыхнул Павел Арсентьевич и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» он закурил на скамеечке; осенился — проверил.

Достал.

Пересчитал. Двести двадцать как одна копеечка.

«Удваивает, негодяй...» — прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог избытка в кулаке и направил решительные шаги обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачи воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый

совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

Обозвав себя аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства.

Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

— А многие бы радовались, — простодушно заметила Верочка. — В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... — интонация звучала неопределенно...

— И даже за добрые намерения, — помедлив, продолжил неподкупный муж. — Ладно...

Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить — он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывни-

ков: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес.

— И что теперь? — задала Верочка вопрос после ужина.

— А что теперь? — благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

— Пятьсот.

— Черт какой, — печально молвил Павел Арсентьевич. — А?..

— А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, — прорвало вдруг и понесло Верочку. — Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек — это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж — все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». Но я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем...

— Паша, — тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. — Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?..

— Да что ты несешь? Что заслужил? — в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. — Устал я!

— Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

— Какая еще справедливость! — закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. — Квартиру дали, зарплату получаем, в доме все есть, какого рожна?!..

И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой...

По лаборатории ползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначтанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И — лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то — сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых

цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, заговариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстукал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся», — одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском.

— Откуда приехал? — со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сиденье, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича.

— С улицы Верности, — зло отвечал Павел Арсентьевич. — Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки должны были изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию — ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отдал коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку — веку воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничтожения, он почувствовал себя легче.

Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшись, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усовещивая, что машина ему не нужна — не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут.

— Для вас! — кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи ворковали, кружась: «Паша, Паша...» — но денег не выпускали.

— Паша, — сказала Верочка, дую ему в лицо. — Не кричи... Ты дерешься...

Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили невысказанный подтекст.

Под порошистым небом Архангельска звенела стынь; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием — авторитет! — забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать — сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, отряхая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительною суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клеевого метода крепления низа целому предприятю. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице.

— Как же так? — произнесла Верочка с обманутым видом. — И здесь тоже... — Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину «Обнаженная маха», Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить — это одно, но подачки...

Однако оказалось — десятка... Хм?..

Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища — двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую — тридцать.

Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуны» — сорок.

С неукоснительной повторяемостью прогрессии выростала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке он выбрал «О морали» Гегеля, с прелевеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не открывает ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) — девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модинова, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене — сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа — лунный месяц. Так или иначе, — к Новому году он адаптировался.

— Не исключено, — поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, — что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник «Ока-III» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета — сто пятьдесят рублей.

Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину — сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветошь фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отваливавшийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье», — он отказался с испугом...

— Вы похорошели, Павел Арсентьевич, — отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. — Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Беспокоила лишь работа. Времени на нее не хватало. Он опасался, что это заметят, но каким-то образом дело двигалось, в общем, ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился.

Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур «Хельга», и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать.

С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну — ...

Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и переводил их под ветхий локоток через переход. В столовой помогал судомойке собирать грязную посуду. Занимал на всех очередь за апельсинами и бежал предупреждать, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологического отделения Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в их лаборатории с самого ее основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич принес ему конфеток, свежих журналов, три гвоздички, передал приветы от всех... Ах ты, господи...

Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмурясь и крикая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жулье-авторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом.

Павел Арсентьевич сохранил самообладание.

— Пашка, ты меня угробишь, — отреагировала на известие Верочка.

Вздыхнули. Поугрызались.

Плюнули. Дали.

Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил тысячу деловито-счастливому Сергею вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести.

— Па-авлик, — прошептала ночью Верочка и потерялась об него носом, — у меня такое ощущение, будто мы с тобой моложе стали...

— Ага, — признался он.

Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облагодетельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб — и обещаний в ответ — не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился...

Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На каковую и поставили цветную «Радугу», свежая старенький «Темп» в скупку в Апраксином.

Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях «Клуба кинопутешествий», Верочка развесила витиеватую фразу:

— И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей — при наличии достатка, — прибегая к общественно полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярнее и чаще.

Павел Арсентьевич соотнес Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно завел речь о Сочи.

— Этот муравейник в унитазе? — удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. — Приличные люди давно туда не ездят.

И настояла на Иссък-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест.

Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел.

Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообщить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев.

В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благодатью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях — Маришка из второго подъезда — старательно сопя, пыталась раскататься. «Сейча-ас мы...» — Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхтела и испускала сияние от удовольствия и впечатлений.

В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился... но весь тот день не исчезла какая-то тень в настроении.

С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.

Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но...

Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, — а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.

Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение.

Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это.

Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.

Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Пришел приехать.

Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарусом» с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.

В ободранной квартире, похмельный — нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить...

Они пили в кухне, нежилой, голой — два брата, два невеселых стареющих мужика, и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина

его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне — что она из тех, на ком вообще жениться нельзя...

Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами «Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.

В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили — уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали.

Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.

А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевков. Глупо подумал, что доллары — тоже зеленого цвета...

В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.

Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи.

Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.

Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени.

В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами.

— Супрун, — с сухим горлом ответил он, — это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут — тогда пойду.

Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.

Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ:

— Кто везет — того и погоняют.

Агарян обомлел и ушипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш.

Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: «Крупные неприятности... ОБХСС... вызывают в Москву... любовница...»

— Извините — я ни-чего не могу для вас сделать, — ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затыжчикам.

Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают, кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар.

Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядов; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.

В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления.

Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».

По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.

Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.

По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился.

Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.

Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что — сверх программы. «И никакого произвольного катания, — шептал он, — никакой самодетальности».

Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать — все. «Как все нормальные мужья», — веско объяснил Верочке.

Еще пятнадцать суток.

Тысяча девятьсот.

Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному — тахикардия).

Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее; и сидел.

Танечке Березенько ни с того ни с сего влепил, что надо соотносить траты со средствами.

В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал.

Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер.

Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблучков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. «А также для чужих рук», — негромко добавил.

Какие услуги!..

Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пыльным цветом распустились нервные колючки.

Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться — с целью замужества — в клуб «Тем, кому за 30».

Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию.

Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик — уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибора посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.

Тысяча девятьсот пятьдесят.

Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне.

Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мильницы сигарете. «Гад, — шептал он, затыгиваясь, — паразит, врешь, что хочу, то и делаю».

Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее:

Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.

Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней.

Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно — триста ре) и злобно потребовал навестить его — как он навещал всех. Вечером причалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с «Мускатом», которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать, передав, что он заснул впервые за двое суток.

Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси.

Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссии предложил взятку продавцу за японские электронные часы «Сейко»; часы нашлись тут же.

На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: «Жулье». Он стал пить и ругаться. Кошелек платил.

В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением — усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.

Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.

Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.

Верочка плакала...

Кошелек платил.

Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую

куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.

— Ну и слава богу, — сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. — Так и лучше.

Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный.

А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег.

— Ааа-аа!.. — голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич.

— Пришел, — сказал кошелек. — Мерзавец... Свинья неблагодарная. — И простуженно закашлял. — Ты соображаешь хоть, что делаешь?

Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт.

— Вот так, — хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.

Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почувствовал неладное.

Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрепину.

— Он в травматологии был, — хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.

Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.

Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.

Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной наклеил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают

не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.

Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как провернуть все в полгода.

Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.

Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную — она уже нашла маклера, — то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.

Именованье ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.

Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать — хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.

Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под ложечку, и он, задыхнувшись, сел на пол.

Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька.

...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, — он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристроит.

Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.

Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс.

Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.

Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.

Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.

Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.

Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.

— Минеральная вода, — сказала стюардесса.

Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.

Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном.

— А покрепче ничего нет? — со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту.

— Покрепче нельзя, — без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и злобой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией.

— А? — сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном. — Ни-че-го... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил — день пропал.

Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку.

— Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговорен не улетим.

А ВОТ ТЕ ШИШ

Осенняя набережная курортного города.

— Приветствую!

— Виноват?..

— Багулин? Я не ошибся.

- Решительно не могу припомнить...
- Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?
- А-а!.. да-да... но все же?..
- А избушка под Тулой, зима?
- Так-так-так-так... ну же!

Багулин,

около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, к тому имея основания.

Арсентий,

того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топорщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит неопределенное: не знаешь, чего ожидать от такого человека.

Обозначим их для краткости просто **Б.** и **А.**

Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.

А. Вот — встреча...

Б. Вот встреча! Через века, а!

А. Какими судьбами здесь?

Б. *(хозяйски поведя рукой)*. Живу.

А. Здесь? Давно?

Б. Четвертый год. Вышел на отдых — и осел на берегу теплого моря.

А. *(завистливо вздыхает)*. Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..

Б. *(с естественностью)*. Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!..

А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?

Б. *(скромная улыбка)*. Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит... Винцо домашнее свое — чистый виноград...

Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим...

Ты-то как?

А. У тебя машина?

- Б. Да вот же — синие «Жигули». Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино...
- А. *(сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы)*. У меня самолет через три часа.
- Б. Куда?
- А. В Москву.
- Б. Ты там?
- А. Да...
- Б. Так и прожил?
- А. Да...
- Б. И откуда сейчас?
- А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.
- Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, — телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.
- А. *(мнется)*. Не могу... У меня там встреча назначена...
- Б. *(шутливо грозит)*. Небось какая-нибудь дама?.. Ох, ты старый жук!..
- А. *(смущенно)*. Что ты, ну... Может, если хочешь, там посидим в ресторане, а?..
- Б. Зря. Точно не можешь?
- А. *(вздыхает)*. Точно.
- Б. *(напористо)*. Ну!
- А. Нет... надо в аэропорт.

Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом — он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.

- Б. Работаешь еще?
- А. На пенсии...
- Б. Какая?
- А. Девяносто четыре.
- Б. Что ж... Кем ушел?
- А. Инженером.
- Б. Старшим?
- А. Просто инженером.
- Б. *(сочувствует со своего высока, уяснив социальный статус старого знакомого)*. Эх, Сенька!... Как был ты добрым с юных лет — так, небось, и ехали всю жизнь на твоём горбу, кому не лень. Да...
Семья есть?
- А. Нет, знаешь.

- Б. Женат хоть был?
А. Да как-то все так...
Б. Да. Ясно... Сейчас-то — что делал в Ставрополе?
А. С похорон...
Б. Вот как... Кто?..
А. Сестра.
Б. (*соболезнуя барственным лицом*). Годы наши... Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое...
А. (*спокоен*). Да. Конечно.

Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается за ним, безусловно, Багулин.

- Б. Не «Реми Мартен», но коньячок сносный.
А. (*причмокивает*). Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.
Б. (*полагая, что уловил смысл*). Ты — мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.
А. (*кратко подчиняясь*). Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.
Б. (*принимая на свой счет должное; с самодовольством как нормой поведения*). Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю жизнь цеплялся? Вот — я подался на Восток. Надо было решиться? — надо. Непросто? — ничего страшного. Результат? — налицо. Кандидатская? — пожалуйста. Докторская? — просим. Директор института? — будьте любезны. Трудом? — трудом. Но без этого дикого столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.
А. Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался... Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля... Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.
Б. (*учит*). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил — и давай!
А. (*прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург*). За границей, вероятно, бывает приходилось...
Б. (*небрежно*). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика — не боишься медвежьих углов — так видишь мир.
А. (*он уже под хмельком*). Помню давние разговоры. Помнишь!.. Да! Брать судьбу за глотку. Старость... гм... вторая молодость... Молодец. Завидую. Прожил.

- Б. (*великодушно*). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.
- А. (*с мгновенным проблеском глаз*). Это точно. Вносит.
- Б. Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорили: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле... журавлетов в небе.

Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести за счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собеседнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.

- А. Пиджак у тебя шикарный.
- Б. Лайка. У нас — четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.
- А. Это — она в Киеве?
- Б. Преподает в университете.
- А. А внуки?..
- Б. Двое.
- А. У нее дружная семья. Да?
- Б. (*крохотная пауза*). Хорошая семья.
- А. Это замечательно.
- Б. А у тебя?
- А. А у меня? Да. А у меня — я. Холостяк. Я говорил, да?
- Б. Ах, гуляка!
- А. (*горестно*). Я не гуляка. Я — так... я — чижик... Вот у тебя было... и семья... а я старый неудачник!..
- Б. Думать надо! Бороться надо! (*Неискренне обнадеживает*). Может, еще женишься?
- А. У тебя и сын в Ленинграде...
- Б. (*с теплотой*). Год назад Горный институт кончил. Сейчас в Метрострое, к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.
- А. Ты — победитель, да?
- Б. Гм. Бр. А что ж.
- А. Да! Вот... Слушай, а зачем ты здесь?..
- Б. (*похлопывает его по плечу*). На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело... горите вы все, дуамаю. Жалость и презрение: старички, сосущие проценты с прошлого. Храмает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемавается, что и знал — перезабыл... грех один... Нет! — красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? — доктор. Директор? — ди-

ректор. Награды имею? — имею. Право на отдых заслужил? — горбом заработал. Живу хорошо? — как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.

А. И качалка на веранде.

Б. Да.

А. И цикады стрекочут.

Б. Стрекохут, стервы.

А. И запах магнолий. И море шумит.

Б. *(возможно, подозревая иронию, но не желая допускать подобной мысли)*. Ах, старина... Вот сидим мы с тобой сейчас... Неважно все это... Время все уравниет... Как подумаешь иногда — а зачем оно все было... зачем ломался, уродовался... Может, ты-то прлавильней жил... Спокойно...

А. Что было — всегда с тобой. Есть такая гипотеза — живешь всегда во всех своих временах.

Б. *(абсолютно согласный)*. Полагаешь?

А. Ты жизнью доволен?

Б. Да.

А. Вот.

Б. *(утешает)*. Не надо ни о чем жалеть!..

А. Сейчас посмотрим.

Б. Что?

А. *(Бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает. Словно безумием пахнуло.)* Ты — помнишь — двенадцатое — января — тридцать — шестого — года?

Б. *(слегка заворуженно)*. Нет...

А. *(гипнотическим голосом)*. Угол Мира и Демущкина. Пятый этаж. Комната.

Б. Ф-фу, господи! Ну конечно! Как ее звали-то... Да Зинка! Акопьян, Чурин!..

А. А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.

Б. А что тогда такое было-то?

А. Ты — в сером костюме. Акопьян принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.

Б. Смутно... Черт его знает... Нет, наверное... Допустим. А что?

А. Ты не помнишь, что было тогда?

Б. *(в недоумении от его тона)*. Да нет же... А что?

А. Совсем-совсем не помнишь?

- Б. (*чистосердечно*). Клянусь — нет.
- А. Размолвочка вышла...
- Б. (*со смехом*). Какая даль, боже мой!.. Не подрались?
- А. (*мрачно*). Куда там... мне с тобой. Да и твое обаяние... все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел — выставить не друга ослом и мерзавцем.
- Б. Дружи-ище! что за воспоминания! Клянусь — ничего не помню! Ну хочешь — хоть не знаю за что — попрошу сейчас у тебя прощения? Ну — хочешь? Кстати — в чем было дело-то?..
- А. (*с театральной торжественностью*). Поздно.
- Б. Верно!..
- А. Поздно. (*Вертит рюмку, опускает глаза*). Ты — ты не помнишь... Что для тебя... оскорбление походя, право победителя... Были времена — я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне — ничего, глотаем и утираемся...
- Б. (*холодно*). Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.
- А. С тех пор я многое умею. Будь спок. (*Наливает*).
- Б. (*отчужденно*). Твое здоровье.
- А. Твое понадобится тебе больше.
- Б. Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. (*Делает движение, чтобы встать*).
- А. (*удерживает жестом*). Прослушайте десятиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно... (*Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.*) Начнем.
- Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?
- Б. Слава богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.
- А. Знаю. (*Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука. Этикетку на внутреннем кармане пиджака.*) Нравится?
- Б. Англия... То что надо.
- А. На инженерскую пенсию, мм? Уда-ачник... А фамилия Забродин говорит тебе что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?
- Б. Слышал, похоже...
- А. Прошу (*протягивает паспорт*).
- Б. (*озадачен*). Не понимаю...
- А. Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.

Б. *(еще не осознал).* Ты-ы?!

А. К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.

Б. Ты — Забродин?

А. Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, а?

Б. Сволочь был первостатейная.

А. *(укоризненно).* К чему категоричность. Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат — своего рода фильтр-обога- титель между ним и сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинство пружин, ты, естественно, не знал. А я — не главный был винтик, но — в центральном механизме.

Вникаешь?

Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а при- слали Гринько — это были просто три строки в докладной запис- ке Ведерникову. Как и кем составляются записки — ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но — ма-аленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат — а он был фактически у тебя в кармане уже.

Б. *(ошарашенно и недоверчиво).* Ты... ерунду ты городишь!...

А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки — он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удви- нули в Кемерово — где ты абсолютно правильно сориентиро- вался, перешел в КТБ и занялся наукой.

Б. *(говорить ему, в общем, нечего).* Та-ак...

А. *(в тон ему).* Та-ак... И написал кандидатскую по расчетам на- грузки кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?

Б. Ну...

А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою дис- сертацию: фактически твой метод с расширенным примение- ем. И его заявка была признана оригинальной, и ты остался даже без приоритета, а тема эта стала Плотниковской, и он сде- лался на ней член-корром! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников рабо- тает на Ведерникова, ты тоже, если и не знал, то мог догады- ваться. А кто приложил руку, чтобы ты не проскользнул? Пра- авильно...

Б. Слушай... Погоди... Слушай!... *(машет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать).*

- А. *(с лицемерной печалью)*. Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демущкина. *(Стучает ладонью по столу, начальственно и уверенно.)*

Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логично должно бы было отпочковаться и расшириться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-яй-яй какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин — в министерстве! Ведерников? А что ему: «Доложить!» Естественно — доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?

- Б. Ну... *(совершенно смят, растерян и потерян)*.

А. Щербину помнишь?

Б. Зав по кадрам?

А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?

Б. Вот ка-ак...

А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел — отдел! Отдаю тебе должное — перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году — а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда ты в шестьдесят втором получил институт — это был потолок. Потолок!

Б. *(с выпущенным воздухом)*. Во-он оно что...

А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Синицын. И кончилось тем, что Синицын тебя съел.

Вот и вся твоя карьера.

Б. *(тупо)*. Я всегда чувствовал... Я всегда предполагал... Чья-то рука...

А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну — когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.

Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще когда жена на двенадцать лет моложе — это чревато, ты не находишь?

- Б.** (*тихо, наливаясь*). Сотру, мразь!..
- А.** (*холодно*). Сначала имеет смысл получить информацию, нет? Итак: пятьдесят пятый год, и она едет на курорт, Крым, ах, прелесть!.. Ты на что рассчитывал, юга не знаешь? И без меня обошлось бы. Но — можешь запомнить адресок: Москва, Воронцов проезд, двенадцать, сорок семь. Гонторов Алексей Семенович. Можешь процитировать своей супруге и насладиться ее реакцией. Это, видишь ли, мой старый знакомец, профессиональный, я бы сказал, бабник. Жизнь на это дело положил! После него ей с тобой в постели ну никак не могло быть интересно. Ты же в это время утрясал в Москве собственные дела. Ну, я и спросил как-то по телефону Будникова, где семейство твое. А Леша — Гонторов — как раз в отпуск ехал. Я и порекомендовал ему, с присовокуплением личной просьбы.
- Б.** Ложь, бред, ахинея!..
- А.** Не думаю... Леше нет надобности хвастать... Да он и письма мне показывал... Полубопытствуй, заявись к нему. Да и поройся получше в памяти — как она вела себя с тобой первое время после отпуска, — поймешь. Ты ж слеп и самоуверен, как все супермены.
- Б.** (*мотая головой*). Вранье! Просто дохнешь от зависти, старый хрыч, перст без подпорки!
- А.** (*иронично*). Я?.. Не смехи. Я почти прадедушка. Четверо внуков. Какая зависть?
- Б.** (*упрямо цепляясь*). Все врешь. Нет никого и ничего у тебя! И не было!..
- А.** (*издевательски*). Прошу в гости. Приму в приличной квартире, те же шестьдесят метров, что у тебя. Дача — сносная, хотя и не в Кунцеве, все удобства. Еще что? Машина. Не люблю тупорылых «фиатов». Серая «Волга», скромно и со вкусом. Не веришь? (*С наслаждением, медленно, вынимает из внутреннего кармана роскошный бумажник, из него — пачку фотографий и водительские права.*) Прошу.
- Б.** (*неохота борется с недоверием и любопытством. Смотрит*). Что ж. Поздравляю. Что еще имеете сообщить?
- А.** Не вспомнил двенадцатое января?
- Б.** (*взрываясь*). Нет!! будь оно проклято! Кровавое двенадцатое января (*с истерическим смешком*).
- А.** (*светским тоном*). Напоследок — пара милых пустяков. Дочь твоя кафедру в Киеве не получила и вряд ли получит. Колесничкому она, видишь ли, не нравится. Наберись нахальства —

позвони ему, спроси, не поступала ли ему информация из Москвы. Колесницкий подчинен Семенову, а Семенов дружен со Щербиной. Крайне просто.

Б. Все?

А. С аспирантурой твоего наследника, куда он уже раз не прошел, вариант аналогичный.

Б. Все?

А. И логическое завершение. Сиди мужественнее, экс-мужчина. Нахожу уместным сейчас двум врагам, сидящим лицом к лицу и подводящим итоги, выпить за здоровье друг друга. *(Пьет.)* А здоровье у тебя, милый мой, ни к черту *(его начинает разбирать смех)*. Ха-ха-ха! удачник! ха-ха-ха!

Б. *(уничтоженный, скрывая тревогу)*. Ну?

А. *(бессердечно)*. Ха-ха-ха! У тебя язва, да? Ха-ха-ха! Ох, прости! ха-ха!.. *(Утирает слезы)*. У тебя рак, любезный. Рак. И жена это знает. И дети. И если ты найдешь способ заглянуть в свою карточку, тоже узнаешь. И если просто перестанешь прятать от правды голову под крыло, то припомнишь все симптомы и сам поймешь.

Б. Откуда ты знаешь?

А. Разве я не могу по-хорошему поинтересоваться у врача здоровьем хорошего друга, дабы, скажем, облегчить его страдания дефицитным лекарством из Москвы?

Теперь — все.

Да. Объяснение.

Я-то, видишь ли, хорошо запомнил вечер двенадцатого января тридцать шестого года. Это не прощается. Жизнь с плевком твоим в душе прожил. Вот и разделал тебя под орех. Наилучшим способом.

А сейчас — позвонил, узнал в горисполкоме твой день и часы приемные, специально прилетел. Ну, отдохнул заодно пару дней — можешь справиться в «Приморской» о моем счете. И встретил тебя — как хотел, нечаянно. Выслушал сначала твою собственную версию счастливой жизни. Ха-ха-ха! Удачник... Приехал пенсионер доживать старость в домик с садиком, так и тут скоро скапунится.

Б. Да что хоть было в тот чертов вечер?

А. Вот вспоминай и мучься.

Б. *(последняя вспышка сил)*. А меня ведь еще хватит на то, чтобы сейчас избить тебя.

А. Фу. Несолидно. Два старых человека. Меня ведь хватит еще на то, чтобы отравить тебе последний год существования. Излиш-

ки площади, излишки участка, заявление в милицию об избииении, письмо из Москвы — и никто тебя здесь не защитит.

Все. Свободен.

- Б. *(не находит ничего крепче театральной формулы)*. Будь ты проклят.
- А. *(ласково и недобро)*. Не волнуйся. А то еще вмажешься куда на своей жестянке, ГАИ — а ты пил, откупаться, ремонт...

Некоторое время молча, неподвижно, смотрят друг на друга.

Причем сейчас

Багулин

— старик за семьдесят, очень усталый, одетый со смешной и жалкой претензией.

Арсентий

— собранный, жесткий, полный того, что принято называть нервной энергией. Строен, худощав, дорогие вещи сидят на нем свободно и небрежно.

Багулин поднимается и уходит, и хотя идет он сравнительно нормальной походкой, но кажется, что он горбится и шаркает ногами.

Уже темно. За стеклянной стеной в густой сини — мигающие огни самолетов. Зажигается свет.

Арсентий смотрит вслед Багулину, достает носовой платок, отирает лицо и шею — и словно это был фокус с волшебным платком — неуловимо преображается в того старика, каким и был в начале встречи.

- А. *(внимательно оглядывает стол, считает в уме, достает бумажник, считает деньги. Облегченно)*. Хватает. Так и думал. Придется ехать общим. Ладно, меньше двух суток... *(Говорит с собой негромко и спокойно, как человек, давно привыкший к одиночеству)*. Вот уж поистине — старческое безделье и маразм... Но крепко я его придавил. Крепко... Всему вроде поверил, а!.. А что — я весной месяц этим развлекался: все сходится... людей половина уже перемерла, — и при желании не опровергнет. С женой даже если — Лешка подтвердит... не-ет, психологически я тебя прищучил, Багулин. И диагнозу своему ты теперь до конца никогда не поверишь... нехай тебя покрючит.

*Закуривает, закашливается,
разгоняет дым рукой.*

Кхе! Кх-хе!.. Да. А ведь — боялся я тебя всегда, Багулин. И сейчас — тоже... побаиваюсь. Ты — сильнее... крупней, так сказать. И ничего — ничего мне было с тобой не сделать. Не убивать же, в самом деле.

Вот — сыграл наверняка. Без малейшего риска, друг мой. И разрушил изрядно всю твою жизнь, не правда ли? Не более чем сменой точки зрения.

Смешная жизнь — уничтожается сменой точки отсчета, а!..

А ведь даже пощечину дать тебе не посмел... Так и прожил с фигой в кармане. И под конец эту фигу показал. Ничтожество... А ты — да, так или иначе ты величина. Или — мнимая величина, если я тебя так?

Но ты не помнишь... Что же — тот вечер в итоге обошелся тебе дорого. Вспоминай! *(Хихикает.)* Это было не двенадцатого января, а шестого марта, ты можешь вспоминать долго!..

Ох, паспорт менять обратно... Ну вот же засела заноза у старого обалдуя! Десять рублей... а пенсия двадцать четвертого. Ну... не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался... У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. *(Проходящей официантке):* счет, пожалуйста.

НЕДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

А МОЖЕТ, Я И НЕ ПРАВ

Свою литературную судьбу я считаю начавшейся с того момента, когда во время прохождения лагерных сборов от военной кафедры университета я пошел на риск первой публикации и написал рассказ в ротную стенгазету. Сей незатейливый опус, решительно не имевший значительных литературных достоинств, тем паче опубликованный в весьма малоизвестном издании тиражом одна штука, вызвал неожиданный резонанс. В рассказе я не до конца одобрительно отзывался о некоторых моментах курсантского внутреннего распорядка, как-то: строевая подготовка, строевая песня, надраивание сапог перед едой и т.д. Из редакционных соображений отрицательное мое к этому отношение было по форме облечено в панегирик, где желаемый эффект достигался гипертрофией восхвалений. Прием это старый, азбучный: восхваления достигали такого количества, что переходили, нарушая меру, в противоположное качество, — что и требовалось.

Курсанты-студенты тихо радовались содержанию, а офицеры кафедры тихо радовались форме (возможно, они не обладали столь изощренным диалектическим чувством меры, как изощренные гуманитары — историки и филологи). Этот литературный экзерсис по-своему может расцениваться как идеальный случай в искусстве, где каждый находит в произведении именно то, что родственно ему.

Но — скрытые достоинства искусства из достояния элиты рано или поздно становятся всеобщим достоянием, или, по крайней мере, доводятся до всеобщего сведения. Миссия просветителя пала

на одного майора, волею судьбы закончившего вместо военного училища университет. Он открыл тот аспект искусства, который предназначался вовсе не ему, а когда человек сталкивается в искусстве с тем, что предназначено не ему, он часто впадает в дискомфортное состояние. И возникшее ущемление и раздражение он считает своим долгом разделить с единомышленниками в вопросе, каковым надлежит быть искусству и как оно должно соотноситься с жизнью.

Майор приступил к комментированному чтению. Он подводил офицеров к стенгазете и настойчиво предлагал ознакомиться. Когда читатель заканчивал и недоуменно вопрошал: «Ну и что же?», майор с университетским образованием удовлетворенно и с превосходством улыбался и разъяснял малоквалифицированному коллеге вредоносную и замаскированную сущность пасквиля, торжественно следя, как лицо очередного травмированного неисповедимым коварством литературы вытягивается, являя собой подтверждение древней истине «ибо во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, тот умножает скорбь».

Вслед за тем я узнал, что означает «автор ощутил на себе влияние собственного произведения».

Миссия просветительская, как известно, неразрывно связана с миссией воспитательной. Покончив с первой, майор безотлагательно приступил ко второй. Он выстроил роту на плацу, выставил меня по стойке «смирно» и высказал свои взгляды на литературу и литераторов, богатством языка высоко превзойдя скромный стиль моей безделушки. Он обладал поставленным командным голосом, и эрудицию пополнила не только наша рота, но и весь полк, собравшийся у окон казарм.

Лишь раз в своей энергической речи он промахнулся: пообещал с моим рассказом прийти в деканат; рота предвкушающе заржала, представив прелестнейший конфуз: в деканате сидели люди, волею привычки понимающие скорее филологов, чем кадровых строевиков. (В дальнейшем майор исправил свою оплошность, вполне грамотно.)

Первым моим гонораром явились, таким образом, пять нарядов вне очереди. И когда ночью, выдраив туалет, я курил там в печальном предвидении ближайшего будущего, зашедший сержант из другого взвода, лет уже под тридцать, усатый, толстый, очень какой-то добрый, уютный и домашний, пробасил сочувственно: «Что, брат, трудно быть писателем на Руси?»

Слово «писатель» было применено ко мне в первый раз. И я даже почувствовал в этой ситуации некое посвящение.